



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все примечания, комментарии и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

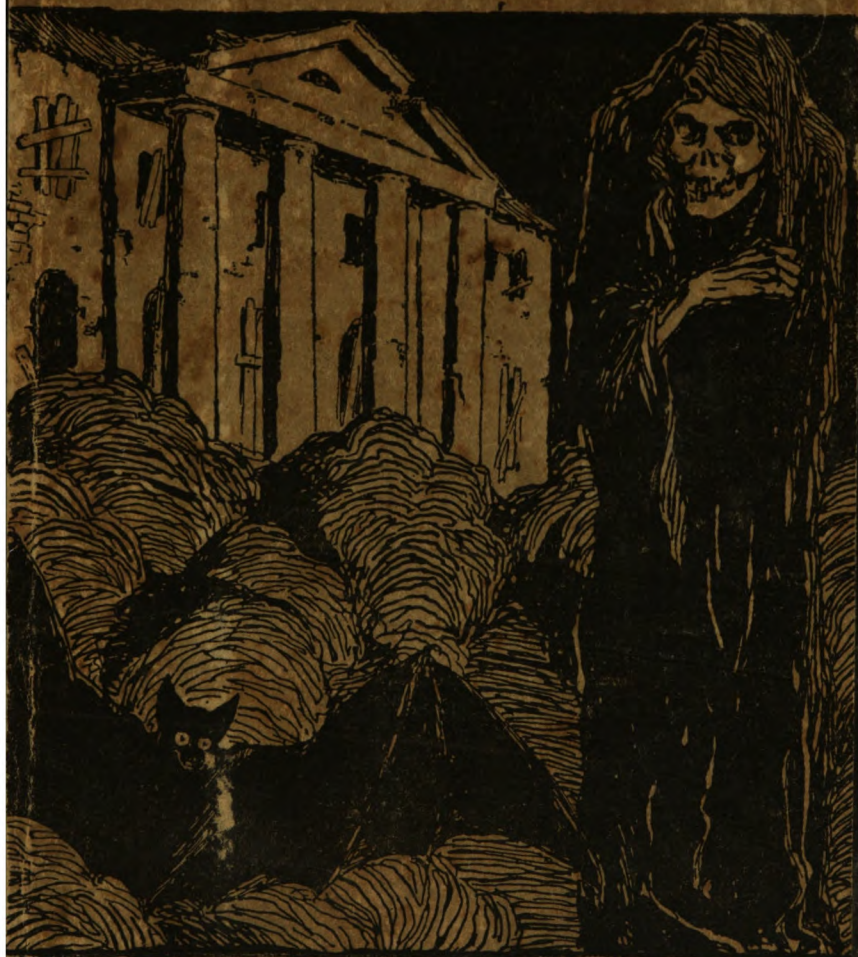
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

БѢЛОРУССОВЪ



ВЪ СТАРОМЪ
ДОМѢ

Slav 4 336, 86, 11

HARVARD COLLEGE LIBRARY

Bought with the income of
THE KELLER FUND

Bequeathed in Memory of
JASPER NEWTON KELLER
BETTY SCOTT HENSHAW KELLER
MARIAN MANDELL KELLER
RALPH HENSHAW KELLER
CARL TILDEN KELLER



476 n/

Бѣлоруссовъ.

**ВЪ СТАРОМЪ
ДОМѢ.**

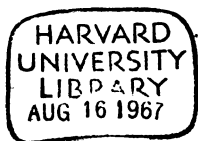
Разсказы.

Воспоминанія.

Размышленія.

Москва—1908.

Slav 4336.86.11



МОСКВА,

Тип. Печатное Дѣло, бывш. Ф. Я. БУРЧЕ, Тверской б., д. Яголкинского
1908.

Въ Старомъ Домѣ.

Умъ нашъ слабъ, и потому слова и понятія,—эти условные знаки мысли,—заслоняютъ отъ насъ міръ.

Два отдѣльныхъ слова,—жизнь и смерть,—и два имъ соотвѣтствующихъ понятія, кладутъ несуществующую грань между царствами живыхъ и мертвыхъ, грань, по эту сторону которой цвѣтеть, будто-бы, и блещетъ красками буйная жизнь, по ту—растается блѣдное царство тѣней.

Это ошибка. Такой грани нѣтъ. Смерть точно грибница проросла ядовитыми блѣдными нитями всю толщу жизни, а въ смертной сѣни идетъ своя особая жизнь. И нѣтъ стѣны или преграды между царствами, но тѣсно и неразрывно связаны и сплетены между собою мертвое и живое.

Старая нянька говорила мнѣ въ моемъ дѣтствѣ, что въ минуту смерти душа отлетаетъ отъ тѣла.

— Якъ малая птушка...

Говорила, что изощренный взглядъ можетъ уловить этотъ отлетъ. И глядя на умирающихъ, я долго стремился поймать тотъ мигъ, когда съ блѣдныхъ губъ срывается крылатая жизнь.

И убѣдился, что поиски эти напрасны. Смерть наступаетъ постепенно. И задолго до той минуты, которую мы зовемъ на нашемъ слабомъ языкѣ смертью, умирають мысли и чувства, способности и склонности, и превращается человѣкъ въ живую могилу, въ гробъ, снаружи украшенный цвѣтами жизни, въ ходячую нежить.

И не только въ человѣческой душѣ, но всюду ходитъ и бродитъ нежить, всюду совершаетъ она свою работу разрушенія и разложенія, всюду безчинствуетъ и умерщвляетъ.

И живетъ своей собственной гнусной жизнью. Въ дряблыхъ жилахъ сочится гнойная лиловато-зеленая кровь, въ гнѹщемъ мозгѣ, какъ черви, копошатся холодныя и смрадныя мысли, и мертвыя пустыя груди поднимаются движеніями мертвыхъ страстей.

Все въ свое время становится нежитью, лишается тверческихъ силъ и способности къ развитію. Все умираетъ. Но не уходитъ изъ міра, а продолжаетъ существовать и бороться за свое мѣсто въ природѣ. Холодными, блѣдными ноцѣпкими руками хватаетъ оно за горло юную жизнь, зловѣщую тѣнью проскальзываетъ на ея праздникъ, тушитъ ея огни, изъ глубокихъ могилъ встаетъ страшнымъ призракомъ и бываетъ, что—le mort saisit le vif.

Торжествуетъ тогда старая мораль, скалитъ обнаженныя челюсти мертвая правда забытыхъ дней, встають изъ гроба безглазыя истины, и на

веселой землѣ начинается шабашъ скелетовъ и призраковъ.

Вы думаете,—это бываетъ рѣдко?

Первый разъ наблюдалъ я торжество и побѣду нежити еще въ моемъ дѣтствѣ, когда, движимый страстью къ приключеніямъ и любовью къ яблокамъ, перелѣзалъ черезъ заборъ въ графскій садъ.

И отчего было не лазить, когда во всемъ большомъ саду былъ только одинъ полуслѣпой сторожъ,— да и тотъ пріятель,—а старый и тоже полуслѣпой Трезорка никогда не кусалъ меня за икры?

Далеко въ глубинѣ сада былъ заросшій прудъ съ черной загнившей водой. За нимъ лужайка, поросшая спиреемъ, жимолостью и сиренью,—и, наконецъ, въ тѣни дряхлыхъ липъ стоялъ старый графскій дворецъ съ когда-то бѣлой, теперь похилившейся колонадой, провисшей крышей и забитыми досками окнами.

Къ дворцу я боялся ходить. Люди давно не жили въ немъ, потому что имъ завладѣла нежить, потому что по ночамъ тамъ слышались глухіе стоны и, говорятъ, блѣдныя тѣни скользили по пустымъ покоямъ.

Но въ сторожку я бѣгалъ охотно и тамъ, сидя обнявшись съ Трезоркой, охотно слушалъ рассказы стараго Якова про старые дни, когда въ домѣ мертвой нежити жила и грѣзила нежить живая.

— Почему же его бросили? спрашивалъ я.

— А потому и бросили, что ходе у немъ старый грапъ. Ходе кажинную ночь и зубами ляскае... А за имъ ходють уси, кому ёнъ вѣку покоротилъ. Ходють, и плачуть, и покоряють. А Боже-жъ мой, ни дай Богъ никому такого лиха...

— Почему же онъ ходить?

— А не пріймаеть земля яго костей, не пріймаеть пекло яго душеньки. Во, и бродить ёнъ по тому мѣсту игдѣ шкодилъ, и плаче кровью, и ляскае зубами...

И затѣмъ шли безконечные разсказы, страшные разсказы о быломъ.

Это былъ изстари жестокий и злобный родъ. Богатый и гордый, онъ мало справлялся съ тѣмъ, что считалось правомъ, что было дозволено. *Sic volo, sic jubeo*,—нигдѣ въ мирѣ этотъ принципъ, провозглашенный двуногимъ звѣремъ, не примѣнялся съ такой примитивной простотой, какъ въ нашихъ старыхъ дворянскихъ берлогахъ, если въ нихъ жилъ богатый и знатный звѣрь. И потому передъ графскимъ родомъ трепетали не только „подлые крѣпостные людишки“, но и городничіе и даже губернаторы входили въ домъ съ бѣлой колонадой надъ прудомъ—съ почти-тельной робостью. Изстари поэтому лились кровь и слезы вокругъ гордаго и жестокаго рода.

Но нельзя безнаказанно изъ года въ годъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе культивировать въ себѣ жестокую злобность, нельзя безчувственно давить тяжелой ногой чужую жизнь. И не было потому ничего удивительнаго въ томъ, что на-

конецъ въ графскомъ роду родилось маленькое чудовище съ мозгомъ злобнаго кретина и съ гнилою кровью въ жилахъ.

Онъ росъ заморышемъ, больнымъ злыми корчами, воплотивъ въ себѣ всѣ недуги и грѣхи ряда поколѣній, взявъ на себя всѣ проклятія, сыпавшіяся на головы его отцовъ. Живая нежить, онъ тѣмъ не менѣе росъ и не умиралъ.

— И не было на свѣтѣ другого такого поскудника,—характеризовалъ его Яковъ.

И развертывалъ передо мной длинный и страшный свитокъ старыхъ барскихъ грѣховъ, доведенныхъ молодымъ графомъ до ихъ возможнаго предѣла.

Всегда господа портили дѣвушекъ—крѣпостныхъ;—чѣмъ-же былъ хуже ихъ молодой графъ? Поэтому и онъ дарилъ своею любовью молодыхъ и нѣжныхъ дѣвушекъ—вашивальщицъ.

Но такова была сила проклятія, тяготѣвшая на всѣхъ его начинаніяхъ, такъ отвратительны были ласки кретина, что первая-же его любовница,—маленькая веселая дѣвочка, взятая имъ силой,—утопилась на другой день въ пруду. И съ тѣхъ поръ, повинувась страшному примѣру, одна за другой погибали тою же смертью всѣ обласканныя имъ дѣвушки,—все самыя нѣжныя, самыя веселыя и молодыя.

Скоро стало непреложнымъ и всѣмъ извѣстнымъ закономъ, что та, на кого упадетъ милостивый взглядъ уродца,—должна умереть. И если дѣвушка вдругъ блѣднѣла и въ дикой тоскѣ, какъ потерянная, толкалась день и другой,—всѣ

знали что её избралъ или намѣтилъ самъ графъ, и что скоро въ зеленой тинѣ пруда найдутъ ея тѣло.

И всѣ жили въ тоскѣ, и воздухъ былъ насыщенъ ненавистью, и берегли, какъ могли, юную жертву, и не могли уберечь...

Всегда такъ бывало, что на барскихъ конюшняхъ пороли и драли сколько хотѣли. Но графу пришлось жить въ царствованіе Николая Павловича, когда подъ толстыми мужицкими черепами начала усиленно бродить мысль о волѣ, и покорныя мужицкія сердца стали болѣе чувствительны къ обидѣ и болѣе склонны къ бунту.

И въ вотчинахъ графа не прекращались волненія, а иногда они вспыхивали ярко,—именно тогда, когда по деревнямъ начинали рыскать господскіе гайдуки, высматривая молодыхъ и хорошенькихъ для дѣвичьей и ткацкой.

— Не дадимъ дочекъ душегубу — кричали матери.

И дѣвушекъ приходилось отбирать силой, „боемъ“—слѣдуя терминологіи Якова.

Одно обстоятельство особенно омрачило и безъ того мрачную жизнь этого страшнаго дома. Графъ задумалъ жениться и выбралъ по своему обыкновенію молодую, нѣжную и веселую дѣвушку изъ обѣднѣвшей княжеской семьи. Была парадная свадьба, былъ блестящій балъ, и ночью устроили карнавалъ на льду. Шелъ ноябрь въ началѣ, и прудъ передъ дворцомъ затянуло молодымъ ровнымъ льдомъ. Его расчистили отъ снѣга, вокругъ поставили горящія бочки и крѣ-

постные мужики и дѣвушки, ряженные звѣрями, чудовищами и фантастическими существами плясали и дѣлали „кумедіи“ на льду для потѣхи новобрачной и приглашенныхъ гостей.

И какъ всегда смерть, всюду караулившая всѣ начинанія графа, протянула свою костлявую руку, и подломила подъ танцующими молодой неокрѣпшій ледъ. Много нелѣпо ряженныхъ тѣлъ таскали весь слѣдующій день изъ подъ смерзавшихся льдинъ,—но коза и медвѣдь, плясавшіе вмѣстѣ, вмѣстѣ остались до весны въ илистой глубинѣ пруда, и только весной всплыли на верхъ распухшіе и страшные въ своихъ звѣриныхъ шкурахъ.

Молодая не дождалась однако этой поры. Послѣ страшной свадебной ночи она, какъ говорили, помѣшалась, нѣсколько разъ убѣгала въ стужу и ночь. Ее ловили и привозили обратно,—и тогда она убѣжала туда, откуда нѣтъ возврата.

А въ вотчинахъ прорвался давно копившійся гнѣвъ.

— Не хотимъ быть подъ душегубомъ.

Перестали выходить на барщину, перестали платить оброкъ, жаловались губернатору, архіерею.

Но жестокій кретинъ не былъ бы выродкомъ, если-бы не отвѣтивъ на „бунтъ“ по звѣриному.

— Што тутъ было! говорить мнѣ Яковъ. И хотя прошло съ тѣхъ поръ много лѣтъ,—голосъ его дрожить и въ подслѣповатыхъ мутныхъ глазахъ—ясный ужасъ.—Што тутъ было! Народъ плаче, кровью плаче, а не слезьми. А ёнъ, якъ волкъ, ходе и зубами ляскае. „Подать, каже,

мнѣ бунтовщиковъ“. И што ночь,—ѣдутъ гайдуки у вотчины, вяжутъ, вязутъ къ грапу, бьютъ, руки ломаютъ, жилы тянуть. А кто Богу душу отдастъ,—того ночью у пролубку. А грапъ якъ шаленый сталъ. Синій увесь, повалится на землю и пѣна, и пѣна... А потомъ зновъ—„гдѣ яны мои вороги, подайте мнѣ бунтовщиковъ“. А-а-а!

— И сколько годовъ этакъ шло, сколько годовъ! И никто не поратует и никто не поможет. Мы губернатору,—а ёнъ къ намъ солдатъ. „Бунтовщики“,—кажить. Мы къ спрауніку,—а ёнъ намъ: „розгами засѣку, у каторгу!“ Нима прауды на свѣти...

Кончилось все неожиданно и тоже страшно. Графа убили. Убилъ старый камердинеръ, нянчившій его въ дѣтствѣ, убилъ жестоко, издѣваясь надъ тѣломъ, и самъ повѣсился тутъ-же на люстрѣ.

Эта смерть почти совпала съ освобожденіемъ крестьянъ. Такимъ образомъ разомъ умерли и старое подлое право и тотъ, кто воплотивъ въ себѣ всѣ пороки этимъ правомъ воспитанныхъ поколѣній, жилъ на веселой землѣ, сѣя зло и страданіе. Казалось-бы, что засыпавъ землей и придавивъ могильной плитой умершее прошлое, можно было начать новую свѣтлую жизнь. Казалось-бы...

Но нелегко уступаетъ нежить свое мѣсто въ природѣ, цѣпки ея хищныя руки,—и прежде всего убѣдились въ этомъ наслѣдники графа.

Пропитались ли кровью самыя стѣны дворца, безмолвные свидѣтели гнусностей и злодѣяній,—

или старая отравленная кровь текла въ жилахъ новыхъ обитателей дома,—или, наконецъ, была правда въ народной молвѣ, будто „душегубъ“ и послѣ смерти своей приходитъ мучить и убивать живыхъ,—но только извѣстно, что одна за другой, въ теченіе немногихъ лѣтъ сошли съ ума двѣ юныя наслѣдницы-графини и что братъ ихъ повѣсился затѣмъ на той самой люстрѣ, на которой болталось тѣло стараго камердинера.

Шепотомъ говорили съ тѣхъ поръ, будто люди оттого не живутъ въ этомъ домѣ, что каждую ночь по темнымъ покоемъ бродитъ призракъ хищнаго графа и ловить руками и ищетъ молодыхъ нѣжныхъ и веселыхъ, и что каждую ночь потомъ изъ темныхъ угловъ выползаютъ искалченные тѣни, распухшіе призраки утопившихся и спущенныхъ въ проруби, и потрясая изломанными руками, съ стонами и воплями гоняются за душегубомъ, а онъ падаетъ на полъ и, весь синій, бьется въ злыхъ корчахъ.

Цвѣтиста фантазія народа...

И опустѣлъ старый домъ. Заколотили досками окна, провисла сгнившая крыша, облѣзла краска, съ фронтона оборвались гербы и корона скрипя болталась на ржавомъ гвоздѣ. Грязный, убогій стоялъ проклятый домъ нежити на берегу зацвѣтшаго чернаго пруда,—отдѣленный отъ жизни стѣной суевѣрнаго страха, внушаемаго имъ людямъ.

Старый, проклятый домъ нежити.

Я былъ уже подросткомъ и давно не лазилъ уже черезъ заборъ за чужими яблоками, когда однажды въ заброшенную графскую усадьбу пришла артель плотниковъ. Цѣлую весну, а потомъ и лѣто и осень и зиму стучали ихъ топоры, визжали пилы, цѣлый годъ сустились тамъ люди и возились надъ домомъ привидѣній, и когда они, наконецъ, ушли,—подновленный домъ стоялъ съ открытыми дверями и окнами, блестялъ лакомъ и масляной краской и, какъ будто говорилъ всему міру:

— Смотрите, все въ порядкѣ, все новое и чисто, и ничего нѣтъ ни страшнаго, ни необычнаго. Живите.

И охотники жить въ немъ нашлись. У воротъ теперь постоянно сидѣли на лавкѣ дюжіе унтера съ большими медалями на синихъ мундирахъ. Въ саду, и подъ липами и около службъ постоянно толклись все они же. А въ домѣ съ окнами на прудъ и бѣлыми колоннами поселился старый генералъ. Молодые, нарядные офицеры, съ удивительно чистыми и гордыми лицами бѣгали къ нему въ домъ съ тяжелыми черными портфелями, что-то тамъ писали, сучили и плели какую-то бумажную паутину, — а вечеромъ, сидя на заборѣ, я видѣлъ ихъ вдали на балконѣ и слышалъ ихъ веселый смѣхъ и бойкіе разговоры.

Была весна. Цвѣла сирень. Спирей выбрасывалъ свои точно усыпанные манной кашей душистыя метлы. Все, начиная съ блестящихъ пуговицъ на синихъ мундирахъ до цвѣтовъ и со-

ловьиныхъ раскатовъ въ заросшихъ кустами садахъ, было такъ ясно, просто, понятно и весело, что, казалось, и впрямь новая и простая жизнь началась въ графской усадьбѣ. И однако...

— Сегодня у насъ вечеромъ будетъ генераль, — сказалъ однажды отецъ моему старшему брату, и кивнулъ головой по направленію къ саду. Смотри братъ, держи языкъ за зубами. Не либеральничай!

— Не станетъ-же онъ доносить за разговоры за чайнымъ столомъ? — оговѣтилъ братъ.

— А ты откуда знаешь? И почему ты думаешь, что чайный столъ тебя защититъ? Ничто не защититъ, братъ...

— Вы объ нихъ такъ говорите, будто они какая то тайная, волшебная сила...

— Ну, ужъ волшебная, или нѣтъ, не знаю. Но страшная и тайная. У нихъ всюду глаза, всюду уши, все узнаютъ, и противъ нихъ нѣтъ охраны. Возьмутъ, — и пропадъ человѣкъ...

— Я думаю, отецъ, тутъ не безъ преувеличенія. Ну, откуда все знать, все видѣть?..

— Поживешь — узнаешь. А я видѣлъ. Одно говорю: — не вѣрь ни служанкѣ, ни барынѣ, ни гостю, ни хозяину. Не вѣрь любовницѣ. Она будетъ тебя цѣловать, а рукой шарить въ карманѣ. Ты знаешь, какъ узнали все про Петрашевскаго? Черезъ любимую женщину. Ты знаешь кто здѣсь ихъ агентъ? Самая красивая дама.... А ты болтаешь: — за чайнымъ столомъ!

Я слушалъ, и хотя не совсѣмъ понималъ, тѣмъ не менѣе на чистенькаго генерала съ краше-

ными усами и фарфоровыми глазами, котораго я часто видѣлъ въ графскомъ саду, пала отъ этихъ словъ какая-то жуткая сѣрая тѣнь, точно тѣнь стараго дома съ его призраками, съ его кровавыми тайнами.

Съ жуткимъ любопытствомъ разглядывалъ я его вечеромъ, когда онъ пришелъ, поджарый, высокій и затянутый, щелкнулъ шпорами, точно сухими костяшками ногъ, что-то сказалъ сухимъ трескучимъ голосомъ и громко расхохотался, открывъ будто мертвыя челюсти, откуда глядѣли резиновое небо и искусственные зубы.

И чѣмъ больше я глядѣлъ на него, на фарфоровые ничего не выражающіе глаза, на крашенные волосы, вставные зубы, на всю эту голову, ворочавшуюся толчками на длинной шеѣ, точно на шарнирѣ,—чѣмъ дальше вслушивался я въ сухой лающий голосъ и горохомъ разсыпавшійся смѣхъ,—тѣмъ больше казалось мнѣ, что передо мной не живой человѣкъ съ мягкимъ, живымъ, упругимъ и теплымъ тѣломъ, а заводная кукла, резиновое чучело, натянутое на косякъ, подкрашенная и подновленная нежить, — законный обитатель подкрашеннаго и подновленнаго стараго дома.

Что говорилъ онъ? О Венгерской кампаній, о буромъ жеребцѣ, на которомъ продѣлалъ ее, о кузнецѣ-венгерцѣ, умѣющемъ ковать на три гвоздя, о подковѣ, которая держалась на этихъ трехъ гвоздяхъ, — Богъ знаетъ, можно ли было выкопать изъ стараго хлама болѣе ничтожную, ненужную ветошь? А онъ между-тѣмъ все бол-

талъ и все смѣялся сухимъ хриплымъ смѣхомъ—точно въ горлѣ у него пересыпался горохъ,—и все крутилъ сухую длинную шею въ высокомъ синемъ воротникѣ, и все ворочалъ безсмысленными фарфоровыми глазами.

А отецъ то хмуро слушалъ его, то вдругъ, будто вспомнивъ что-то, начиналъ вторить ему дробнымъ смѣхомъ и беспокойно и, какъ мнѣ казалось, угодливо бѣгалъ глазами.

Когда, наконецъ, генералъ всталъ, и щелкая шпорами, фальшивыми челюстями и висюльками аксельбантовъ, ушелъ,—у меня осталось впечатлѣніе, будто цѣлый вечеръ передо мной трясли мѣшокъ полный костями, сухими костями, вырытыми изъ могилы...

И онъ ушелъ туда въ этотъ старый мертвый домъ, гдѣ стѣны пропитаны кровью, гдѣ во всѣхъ щеляхъ подъ свѣжей замазкой и лакомъ живутъ призраки-старыхъ грѣховъ, гдѣ бродитъ тѣнь душегуба,—гдѣ до сихъ поръ, быть-можетъ, молчаливую тишину ночи тревожатъ стоны и вопли замученныхъ. Быть можетъ и самъ онъ, этотъ тощій сухой генералъ, только подмазанная и подлакированная нежить, разложившійся прахъ сѣдой жестокой старины, блѣдной костлявой рукой, хватающій за горло молодую прекрасную жизнь? Какъ этотъ страшный графъ, что выбиралъ только молодыхъ, веселыхъ и нѣжныхъ?..

Съ этихъ поръ я съ прежней опаской сталъ смотрѣть на подкрашенный старый домъ, и какимъ то неяснымъ и смутнымъ внутреннимъ процессомъ стерлось для меня различіе между

теперешними его обитателями, большими, шумливыми, увѣшанными побрякушками и шнурками, и тѣми призрачными тѣнями, ночными тѣнями стараго дома, которыя таскались по его заламъ, потому что земля не принимаетъ ихъ костей, а пекло—ихъ душъ, по словамъ полу-слѣпюго Якова.

И чѣмъ дольше жили въ старомъ домѣ наши новые сосѣди, тѣмъ опредѣленнѣе чувствовалось не мною однимъ, а и всѣми, что въ немъ, въ этомъ домѣ нежити, измѣнилась только внѣшность, подмазанная и подкрашенная, а сущность осталась все та же.

Всегда,—и тогда, когда здѣсь жилъ и позорилъ землю „проклятый“ графъ, и тогда, когда слѣпой Яковъ бродилъ по заросшимъ дорожкамъ заросшаго сада, вокругъ брошеннаго дома и теперь, когда нарядные офицеры и заплывшіе унтеры гремѣли шпорами и сыто хохотали, — всѣ знали, что дневная жизнь дома—одна только видимость, маска. Настоящая жизнь, то, въ чемъ домъ открывалъ свою особую грозную природу—начиналась ночью, когда мракъ спускается на землю и окутываетъ тайной и то, что есть, и то, чего нѣтъ.

Ночью „проклятый“ графъ грызъ пальчики тѣхъ нѣжныхъ и молодыхъ, которыя другою ночью спасались отъ него въ тинѣ пруда. Ночью выкручивалъ онъ руки дерзкихъ мужиковъ; которыхъ ночью гайдуки привозили изъ дальнихъ деревень, чтобы другою ночью спустить въ прорубь рѣки.

Ночью дряхлый камердинеръ, забывъ холопскую вѣрность и страхъ холопа, почувствовалъ, что не можетъ уйти онъ въ могилу, не порвавъ безконечной цѣпи злодѣяній, и ночью же онъ выдавилъ глаза господину и для себя захлестнулъ на люстру ремень.

И послѣ того, годъ за годомъ, ночью выходили изъ закутъ истязальни, изъ темныхъ угловъ пустыхъ залъ замученныя тѣни, громко стонали и окружали кольцомъ „проклятаго“ графа, который, щелкая зубами, скользилъ блѣдною тѣнью отъ одной пропитанной кровью стѣны къ другой. Тайная, ночная, страшная жизнь — она была всегда настоящею жизнью стараго дома. И та-кой осталась она и теперь.

Едва мракъ спускался на землю, и люди погружались въ сонъ, за закрытыми ставнями дома зажигалась огни и темныя тихія тѣни, сдержанно побрякивая металломъ о металлъ собирались въ большихъ полутемныхъ переднихъ. Другія тѣни, съ поднятыми воротниками и нахлобученными шапками спѣшно и крадучись пробирались въ калитку и, шмыгнувъ, пропадали въ тѣни старыхъ липъ. Молча, таинственно собирались нарядные офицеры, серьезно и сосредоточенно отдавали приказанія,—и затѣлъ молчаливыми ватагами отправлялись въ таинственный путь и исчезали во тьмѣ,—точно сѣть, опустившаяся въ темныя глубины моря.

Черезъ нѣсколько часовъ сѣть такъ-же тихо и безшумно возвращалась,—съ уловомъ. Странно:—это, какъ и встарь, было обыкновенно моло-

дое, веселое, нѣжное. Безбородые юноши, молодые дѣвушки, часто почти дѣти. Ихъ привозили и приводили неизвѣстно откуда,—или, вѣрнѣе, отовсюду,—и запирали въ темныя конурки, у дверей которыхъ молча и таинственно становились темныя тѣни. Иногда къ нимъ выходилъ старый шелкающій генералъ. Широко разѣвалъ искусственныя челюсти, игриво ворочалъ фарфоровыми глазами и то хохоталъ, пересыпая горохъ въ своемъ горлѣ, то угрожающе гремѣлъ костями въ мѣшкѣ. И всегда у этихъ молодыхъ и неопытныхъ оставалось впечатлѣніе, что вотъ только что приходила поиграть съ ними сама смерть, костлявая смерть, подкрашенная, полакированная и затянутая въ тѣсный мундиръ.

И отъ этого они сидѣли въ своихъ темныхъ конуркахъ подавленные и тоскующіе. Въ плѣну у смерти. Въ домѣ нежити. Въ старомъ домѣ, стѣны котораго пропитаны кровью, воздухъ насыщенъ столами...

Иные боролись долго, упорно—это вѣрно тѣ, которые знали нужныя молитвы и заклинанія. Другіе, и особенно молодые, нѣжныя и веселыя дѣвушки,—скоро слабѣли въ непосильной борьбѣ. Можетъ быть тѣнь „проклятаго“ графа приходила ласкать ихъ, грызть имъ пальцы и груди? Можетъ быть призраки прошлаго, стонущіе и окровавленные призраки, сводили ихъ съ ума? Кто можетъ это знать?

Но знали навѣрно,—и толстая слезливая кухарка Марья знала тоже навѣрно, что стоны и жалкіе крики, которые можно слышать, стоя ти-

хой ночью у нашего забора, свидѣлствуютъ неопровержимо о томъ, что кому то опять, какъ встарь, ломають руки и вгрызаются въ сердце.

— Встала я ноччись,—разсказываетъ Марья, сидя утроемъ за самоваромъ, кучеру и дворнику и всѣмъ остальнымъ обитателямъ кухни, — вышла на ганки и слушаю. Плачить! Такъ-таки жалостно плачить, а потомъ якъ засмается!.. Утекла я. Ня можно слухать, якъ яно плачить: якъ дитя...

— И все возють, все возють, — мрачно отвѣчаетъ кучеръ Захаръ,—лиха на нихъ нима. Седни зновъ привязли у карети. Вокна завѣшаны... Кажуть, якуось соусимъ рабеночка...

— Нячистое мѣсто, будь яно проклято... Ящо за старымъ грапомъ...

И шли безконечные страшные разсказы, гдѣ прошлое переплеталось съ настоящимъ, гдѣ нельзя было разобрать, что въ этой безвременной фантазмагоріи почерпнуто изъ воспоминаній, и что изъ дѣйствительности. И ни я, частый слушатель этихъ кухонныхъ разговоровъ, ни, думаю, толстая Марья, никогда не могли уяснить себѣ, —кто же это плачетъ такъ жалобно тамъ, въ старомъ домѣ, — блѣдная ли тѣнь, выходящая изъ старой темной могилы, или блѣдная дѣвочка,, привезенная только вчера въ старой темной каретѣ.

А костистая рука нежити продолжала между тѣмъ свое дѣло. Каждую ночь протягивалась она куда нибудь и выхватывала изъ жизни того, кто ей казался самымъ жизненнымъ, самымъ

нѣжнымъ. Пришла, наконецъ, очередь и до нашего дома.

Это было такъ. Я спалъ уже давно и крѣпко, когда ко мнѣ въ спальню ворвалась сестра Маша, въ одной рубашкѣ, и тряся меня, и трясясь сама, начала совать мнѣ въ руки какой то свертокъ.

— Спрячь, Сережа велѣлъ, спрячь скорѣй, дрянной мальчишка... Миленкѣй, проснись же, спрячь, вѣдь у насъ привидѣнія! На!

— Что съ тобой? Что на? Какія привидѣнія?

Маша приложила палецъ къ губамъ и старчески серьезно сказала:

— Оттуда. Понимаешь? Къ Сережѣ. Спрячь же скорѣй.

У мальчиковъ всегда имѣются хорошія прѣтальки. И сдѣлавъ все, что было нужно, я пошелъ внизъ. Тамъ стоялъ самъ скелетъ, щелкалъ челюстями и шпорами и, изогнувшись бокомъ и отставивъ кренделемъ костистую руку, говорилъ матери:

— Самъ пришелъ, чтобы успокоить васъ. Надѣюсь — не на долго. Надѣюсь, ничего очень серьезнаго. Что? Да, все-таки возьмемъ. Что дѣлать, такое время! Но дастъ Богъ, дастъ Богъ...

— Какъ онъ смѣетъ говорить о Богѣ? Какъ онъ смѣетъ? Что общаго между нимъ и Богомъ? —негодуетъ потомъ моя мать, и ходитъ спокойно большими шагами по всему дому, точно ищетъ что-то потерянное, навѣки потерянное...

Я прижимаюсь къ отцу, встрѣтившись съ нимъ въ темной передней.

— Да, братъ,—говорить онъ мнѣ вдругъ,—точно смерть прошла... Пусто.

И Маша, сидя вечеромъ на моей постели, шепчетъ мнѣ.

— Они какъ пауки,—сидятъ, притаившись въ затканомъ паутиной темномъ углу, и караулятъ. И бросаются потомъ на бѣдную муху и сосутъ ее и убиваютъ.

— Нечистъ, прости Господи, право слово — нечистъ,—формулируетъ общее мнѣніе толстая Марья.

Съ тѣхъ поръ старый домъ сталъ не только пугаломъ для насъ, но и личнымъ врагомъ нашимъ. И съ тѣхъ поръ и я и Маша пристрастились къ этимъ затасканнымъ, грязно напечатаннымъ книжкамъ, которыя мы спрятали въ ту ночь. Смутнымъ чувствомъ, отождествившимъ для насъ руку, похитившую Сережу, съ злою нежитью стараго дома, признали мы въ этихъ книжкахъ отраженіе жизни,—невѣдомой, только еще раскрывавшейся передъ нами, но уже сіяющей гдѣ-то тамъ, впереди, всѣми радужными огнями свѣтлой жизни.

Не удивительно, что, спустя установленное время, рука протянулась и за мной.

Но щелкающаго генерала уже не было. Не знаю, перекочевалъ ли онъ въ какой нибудь другой старый домъ, или официально перешелъ въ штатъ призраковъ, ютящихся въ темныхъ закоулкахъ своего бывшаго жилища, чтобы бродить по ночамъ вмѣстѣ съ „проклятымъ“ графомъ,—но на его мѣстѣ сидѣлъ другой генераль.

Растекаясь отъ толщины на ручки кресла, сидѣлъ онъ въ немъ, и былъ похожъ на перину въ выцвѣтшей наволочкѣ, скомканную и втиснутую въ кресло. Безсильно и неподвижно лежали на мягкомъ животѣ вспухшія сѣрыя руки, и въ заплывшемъ сѣромъ лицѣ безжизненно, не мигая, скрывались маленькіе мертвые глаза. Скука, смертная скука застыла въ его сонномъ взорѣ, стекала медленными густыми каплями съ сѣрой отвисшей губы, пропитала все старчески-развалившееся тѣло.

Я сидѣлъ и каждая жилка играла и дрожала во мнѣ страхомъ, злобой, юнымъ задоромъ, и гдѣ-то только притаившимися, но ежеминутно готовыми хлынуть слезами.

Онъ замѣтилъ какъ прыгаетъ у меня рука на столѣ. На минутку насмѣшливый огонекъ вспыхнулъ въ глубинѣ сизыхъ глазъ и потухъ.

И беззвучнымъ умершимъ голосомъ, вяло плепая губами и спустивъ на глаза дряблыя вѣки, генералъ прошамкалъ:

— Дрожите? То-то... А сидѣли бы смирно... Все дѣло въ томъ, чтобы сидѣть смирно... Да. Смирно...

И онъ плотнѣе вѣхалъ въ кресло, и втянувъ голову въ жирныя плечи — уснулъ? или умеръ? или сѣлъ смирно?

Ночью мнѣ снилось, что въ мою маленькую глухую коморку вошелъ „проклятый“ графъ, и, щелкая зубами, показывалъ на меня мертвой рукой и сказалъ мертвымъ беззвучнымъ голосомъ.

— Онъ живъ, онъ живъ,—задушите его скорѣй...

Сухой генераль постучалъ своими костями, побрякалъ вмѣсто шпоръ сухими пятками и, захохотавъ своимъ щелкающимъ смѣхомъ, отвѣтилъ

— Дастъ Богъ, дастъ Богъ...

Тогда неслышно подоплылъ или подкатился ко мнѣ сегодняшній скучный толстякъ, и навалился на меня своимъ гнилымъ жидкимъ тѣломъ.

— Все дѣло въ томъ, чтобы сидѣть смирно, смирно, да, смирно,—шлепали его вислые губы.

Но я не хотѣлъ смирно задохнуться подъ его страшной тяжестью, и кричалъ и метался, пока не вошелъ унтеръ, не потрясъ меня за плечи и не сказалъ:

— Здѣсь кричать не дозволяется. Смирно лежите, чтобы безъ шума, смирно...

Такъ еще разъ убѣдился я, что нежить жить и ходить и бродить по землѣ хватая мертвой рукой все живое, молодое и нѣжное.

— —

Прошло много лѣтъ, и я вновь дотащился до своего дома, — когда-то веселаго милаго дома, въ которомъ то тихо, то бурно—текла наша юность, расцвѣтали надежды, разгоралось пламя любви и борьбы...

И оно разгорѣлось, и ярко пылало, и сіяющимъ цвѣткомъ распустились надежды, — но и мертвая рука старой нежити не лежала праздная. Это для насъ, для живыхъ, была выдумана заповѣдь: „смирно“. Сама же она не знала покоя.

Сначала призрачная и ночная, она перестала потомъ бояться дневного свѣта, и вырастая, без-

конечно большая, костистая и жадная, она косила направо и налево, и въ безудержномъ размахѣ взрывала землю, тянулась къ звѣздамъ, закрывала свѣтъ солнца и, опустошивъ поле жизни, нависла надъ нимъ черной тѣнью.

Домъ нашъ за это время осунулся. Покривились ступени. Горбомъ выдались стѣны. Уголъ осклѣлъ, точно подогнулись подъ нимъ старыя ноги. И заборъ отдѣлявшій насъ отъ графской усадьбы обвалился и сгнилъ, — а можетъ быть его растащили, или пожгли? Яблоня изъ графскаго сада низко перегнулась къ намъ, кусты, завоевывая понемножку пространство, поползли на нашъ дворъ, и исчезла граница между гнѣздомъ нежити, давно опять заколоченнымъ и пустыннымъ, и нашей пустѣвшей и дряхлѣвшей усадьбой.

— Слава Богу, говоритъ мнѣ мой совѣтъ старый отецъ, слава Богу, что хоть ты добрался до дому... Эх-хе-хе!

И онъ понуро и долго молчитъ.

— Какъ нибудь, какъ нибудь дотянемъ, дружокъ... Что ужъ роптать? Не многимъ досталось и такое счастье—хоть ты у насъ. У Ивановыхъ—какая семья! а дома ни одного. Охъ, Боже мой. А у Оли? и того хуже... да!..

И я чувствую, что за этой покорностью, что за этими горькими „слава Богу“—кроется раздавленная жизнь, что и въ немъ, въ моемъ старикѣ, *le mort a saisis le vif*.

А старая мать — та такъ прямо и говоритъ мнѣ, когда я, лежа на балконѣ, нервно рву об-

ложки газетъ и бѣгаю глазами съ одного столбца на другой.

— Охота тебѣ! Только себя разстраииваешь... Не для насъ это, мальчикъ мой. Ты лучше усни спокойно и забудь все, забудь...

И Марья стала совсѣмъ старухой, сморщенной и горбатой: исчезла великолѣпная толщина ея и только старая привычка легко плакать, подпершись кулакомъ—сохранилась вполнѣ.

— Ну, что слышно тамъ? — спрашиваю я у нея, кивая на графскую усадьбу?

Она сердито морщится и подпираетъ щеку кулакомъ.

— Только пожалуйста, хоть ты не плачь,—торопливо говорю я ей.

— Што-жъ плакать? Слязьми не отратуешь... Пovyплакала ужъ уси слезы я...

А у самой уже течетъ изъ одного глаза предательская струйка—обличительница сказанной неправды.

— Ну-ну! Такъ что-жъ,—все ходить тамъ, все бродить тамъ по ночамъ?

— Вы мнѣ лучше скажите, игдѣ тяперя не бродить? вдругъ сердится на меня Марья. — То колись було, што у во всемъ городѣ одинъ такій проклятый домъ былъ. А тяперичи... да вы може думаете у насъ не плаче? Вы послушайте ноччу: надъ паратными вое, у трубахъ плаче, по крышѣ ходе: по усему свѣту расползлась гэта нежить, спокою не дае...

И опять подпираетъ щеку кулакомъ.

Я хочу вскочить, весело и громко закричать, расхохотаться, чтобы прогнать эту мертвую одурь, эту могильную, дряблую печаль, свидѣтельствуемую о побѣдѣ нежити надъ жизнью, — и это мнѣ на минуту удастся. Я быстро встаю и начинаю... кашлять, каплять до надрыва, отплевывая мокроту и кровь, пока не приходитъ мать, и не говоритъ:

— Ахъ, зачѣмъ ты встаешь! Тебѣ надо лежать, лежать, лежать...

Мнѣ надо лежать, потому что блѣдная нежить забралась и въ меня и ея блѣдныя руки хозяйничаютъ въ моемъ сердцѣ. И покорный и обезсиленный я лежу, лежу и слушаю. Что же еще дѣлать мнѣ, инвалиду?

И я слушаю, и слышу, — и особенно ясно слышу я это по вечерамъ, когда умолкаетъ ненужная суeta въ домѣ, — что весь міръ, — и земля и воздухъ и городъ и дальнія за городомъ роши и широкая подъ горою рѣка, — все полно звуками жизни, напряженной, неистребимой, ликующей жизни.

Они плывутъ ко мнѣ, эти звуки, въ смутномъ гулѣ большого неугомоннаго города, въ нѣжныхъ переливахъ пѣсенъ съ рѣки, въ топотѣ рѣзвыхъ дѣтскихъ ногъ за заборомъ, въ безшабашномъ смѣхѣ тамъ, на улицѣ.

Тамъ идутъ веселые люди и кто-то молодымъ яенымъ голосомъ говоритъ.

— Э, полно-те! На послѣдяхъ справляютъ они этотъ шабашъ. Все измѣнилось. Потеряна ими и тѣнь нравственной власти. Никто ихъ не ува-

жають и даже не очень ихъ и боятся... Мы свободны, свободны! Они только тѣни...

Другой глухой голосъ бубнить что-то угрюмо, но я не могу разобрать—что.

— Ну это для стариковъ и малыхъ ребятъ,— отвѣчаетъ первый.

Они проходятъ дальше, и я слышу только обрывки фразъ.

— Насъ какъ песку на днѣ моря... Свобода... завтра...

Да, неистребима, — думаю я, — вѣчно юная, буйная жизнь. Тысячами крѣпкихъ сочныхъ ростковъ пробивается она повсюду изъ незамѣтныхъ, сѣрыхъ, землею засыпанныхъ зеренъ. Неистребима, неистребима...

А шаги возвращаются. За кустами, растущими у палисадника, мелькаютъ легкія, какъ облако свѣтлыя одежды. Въ нихъ играетъ лучъ мѣсяца и слышится дѣвичій смѣхъ, — молодой, веселый и нѣжный.

И почему-то темное опасеніе закрадывается невольнo мнѣ въ душу и, насторожившись, я жду...

И дѣйствительно, къ веселому легкому смѣху присоединяется другой щелкающій смѣхъ. Щелкаютъ потихоньку щпоры? или костяшки?—и сухой трескучій голосъ,—старый знакомый,—говорить съ явнымъ злорадствомъ:

— Ну, мы еще это посмотримъ...

Старый знакомый изъ старого дома...

У озера.

(Выписка изъ дневника).

Городъ хорошій; русскій, уѣздный, но чистенькій; видна близость столицы. Изъ оконъ вижу озеро, почти море, и вытекающую изъ него большую рѣку. Прямо противъ моей спальни—этотъ плоскій островъ съ прилегшей на немъ сѣрой громадой крѣпости. Подъ свинцовымъ сѣвернымъ небомъ, окруженная бьющимися о ея стѣны волнами, лежитъ она, глухая и неподвижная, и давить землю.

23 февраля 84 г.

Познакомился съ милыми людьми. Анучины. Отецъ—членъ управы. Дочь—Анна Михайловна—прелестная дѣвушка. Нигдѣ не видѣлъ, кажется, столько свѣжаго веселья и жизнерадостности, какъ у нихъ въ домѣ. Бываю часто; люблю всѣмъ сердцемъ здоровыхъ, ясныхъ людей. Судишь, судишь, приговариваешь къ тюрьмѣ и арестному дому, штрафуешь и миришь, и на душѣ отъ этой лужи человѣческой грязи дѣлается такъ тошно, и такъ хорошо уйти вечеромъ къ веселымъ людямъ, занятымъ добрымъ дѣломъ.

24 марта 84 г.

Ходилъ гулять съ А. М. Солнце, небо блѣдно-голубое и такое чистое и прозрачное; какое бы-

ваетъ только у насъ на сѣверѣ весной, легкій вѣтеръ съ моря, бодрый и ласковый,— все говорить о рождающейся веснѣ, о новой жизни. Мы стояли на берегу озера, и А. М. вдругъ сказала:

— А вы не думаете, что она живая, что она только притворяется, будто не видитъ и не слышитъ? Вы ей не вѣрьте. Она коварная и холодно-жестокая. Видите, какъ она распласталась и притаилась, какъ будто ждетъ... Уйдемъ отсюда!

И мы ушли...

1 августа 84 г.

Женюсь. Хотѣлъ бы кричать объ этомъ всему міру. Хотѣлъ бы... Не могу выразить какую радость дрожить мое сердце. Днем...

А ночью, когда все умолкнетъ, когда все тихо,—тихо лежу и предвкушаю умомъ и сердцемъ все грядущее счастье, всю долгую прекрасную жизнь. Прекрасна жизнь!

Это весна и воскресавшая природа принесли мнѣ мою радость. Она родилась въ ту прогулку у озера... Теперь она созрѣла.

15 сентября 84 г.

Засталъ сегодня жену въ бесѣдѣ съ ея нянькой,—старуха живетъ у насъ. У нея сынъ—жандармъ, тамъ, въ крѣпости. Она чувствуетъ къ нему какой-то суевѣрный страхъ и не называетъ по имени. Сидятъ и шепчутся. Шепчетъ, собственно, только старуха. Жена же слушаетъ съ большими, остановившимися глазами. На глазахъ слезы.

— О чемъ ты, старая, наговариваешь?—спрашиваю.

Сначала замаялась, какъ будто конфузясь, потомъ вдругъ омрачилась и опять сердито зашептала, обращаясь только къ женѣ: „А одного какъ привезли, такъ и выйти не можетъ: ослабъ. На полотенцахъ вынимали. Тоже, сказывалъ, на вѣшность, всѣхъ на вѣшность—тутъ и помрутъ. Она—такая. Изъ нея выходу нѣту, никому нѣту выходу“...

Мнѣ нужно было въ камеру,—назначенъ былъ разборъ. Я взялъ руку жены и поцѣловалъ. Она мнѣ не отвѣтила даже рукопожатіемъ. Я началъ разбирать дѣла, допрашивалъ свидѣтелей, слушалъ адвокатовъ, записывалъ приговоры, а въ ушахъ стояли слова старухи: „На полотенцахъ“... „На вѣшность“...

И мѣшали слушать, мѣшали думать.

1 января 1886 г.

У насъ въ домѣ идетъ какая-то двойная жизнь. Одна—явная, открытая для всѣхъ, счастливая. Какъ всѣ, мы работаемъ, видимъ людей, разговариваемъ и смѣемся. Съ женой мы день ото дня все ближе и дороже другъ для друга, и наша маленькая дочь—источникъ общей нашей радости. И все-таки и днемъ и ночью надъ нами точно черная туча, точно какая-то грозная тѣнь. Это она, эта громада на островѣ, и ея страшная, убійственная жизнь. Не было радости, которой бы она, мысль о ней, не омрачила. Стоитъ взглянуть въ окно—она передъ глазами. Я помню, жена долго боялась смотрѣть туда. Теперь, ложась спать и помолившись передъ иконою, она

каждый вечеръ подходитъ къ окну и долго стоитъ и смотритъ, зимою — въ ночную тьму, лѣтомъ—въ мутный сумракъ, окружающій „проклятую“, какъ говоритъ наша старуха. Утромъ первый взглядъ туда же. Тайныя нити протянулись между нею и между нами. По этимъ невидимымъ путямъ мысль наша и воображеніе уходятъ туда, за эти неприступныя стѣны, гдѣ подъ тяжестью распластавшагося камня, гаснутъ люди. Она, каплю за каплей, выпиваетъ жадно живую кровь годами умирающихъ людей.

Наша вторая, тайная, жизнь — съ ними; посредникомъ между нами служитъ старуха-нянька. Временами, но очень рѣдко, отъ своего „жандара“ она узнаетъ кое-что и сообщаетъ намъ. Отъ насъ, туда, конечно, не доходитъ ничего. Да и что могли бы мы сказать? Что молодая, свѣтлая жизнь моей жены омрачена сосѣдствомъ медленной смерти, многолѣтней пытки? Что я не могу спокойно отправлять „правосудіе“? Смѣли ли бы мы сказать *имъ* о такомъ вздорѣ?

Сегодня новый годъ. Что дастъ онъ... *имъ*? Что дастъ онъ намъ—объ этомъ неловко думать. Когда, осенью, у насъ родилась дѣвочка, мы называли ее Вѣрой. „Вѣра двигаетъ горами“. Можно ли жить безъ вѣры?

2 января 1886 г.

Умираютъ. Камень побѣждаетъ.

Аня мечется. Все спрашиваетъ: „Что дѣлать? Что намъ дѣлать?...“ Развѣ я знаю?

Январь 1888 г.

Намъ прислали копію картины Беклина „Островъ мертвыхъ“. Подъ черно-голубыми, таин-

ственными небесами лежитъ онъ, торжественный и грозный, среди тихихъ синихъ водъ. Тайственный замокъ бѣлѣетъ мраморомъ въ скалѣ, черные кипарисы стоятъ надъ нимъ беззвучно... Покой, молчаніе, конецъ. Великій художникъ не видалъ нашего „острова смерти“ подъ мутно-сѣрымъ небомъ, на грязно-желтыхъ пескахъ; не видѣлъ этого уродливаго плоскаго „замка“ и безобразныхъ старыхъ ветлѣ кругомъ. Оттого такъ таинственно-величаво его царство смерти. Мы знаемъ другое: заставляющее содрагаться, злое и жадное. Да, оно жадно; оно открываетъ свой зѣвъ, чтобы проглотить новыя жертвы. Но, чтобы выпустить,—никогда!

Май 1893 г.

Жена больна. Я понимаю такъ: надежды нѣтъ. Чахотка. Поставила свой *chaise-longue* противъ окна и смотритъ *къ нимъ*.

— Теперь, когда мнѣ здѣсь быть недолго, — сказала она мнѣ сегодня,—я ближе къ нимъ, и мнѣ не стыдно передъ ними.

Что я могу сказать ей? Что она должна беречь себя? Что эта вѣчная дума сѣдѣетъ ее? Но и я не могу, и она не послушаетъ.

Вчера старуха ей разсказала вѣсть, не приуроченную ни къ мѣсту, ни ко времени. Такъ, голый фактъ, ставшій отъ этого еще таинственнымъ и ужаснымъ.

— Мой-то сказываетъ: сгорѣлъ одинъ-то; облился карасиномъ и сгорѣлъ... Попущеніе Господне! Попускаетъ Богъ до времени. Что дѣлаютъ, что дѣлаютъ...

Я прогналъ старуху: „Молчи, чертовка!“ Она ушла, сердито ворча о томъ, что, видно, я не боюсь Бога.

А ночью у жены хлынула горломъ кровь. Чуть отходили. Утромъ первыми ея словами были:

— Можешь ты представить, какъ дошелъ человѣкъ до *этого*; что пережилъ онъ, чтобы рѣшиться?

Но развѣ я могу представить? Развѣ кто-нибудь это можетъ! Да и не хочу, тысячу разъ не хочу ни думать, ни представлять. Довольно, довольно этого!

Августъ 1897 г.

Тринадцать лѣтъ я здѣсь. Тринадцать лѣтъ тому назадъ моя Аня вошла въ мой домъ счастливымъ, бодрымъ человѣкомъ, и уже давно ушла, сломанная — чѣмъ? Какую роль въ ея смерти сыграла „проклятая?“ Какъ она съѣла ея дѣтскую веселость—это я видѣлъ. Какую глубокую рану вскрыла она въ ея душѣ и вѣчно бредила,—я видѣлъ тоже. Можетъ ли жить человѣкъ съ вѣчной тоской въ душѣ, съ вѣчной боязнью и тревогой? И вотъ она ушла. А мы остались: я и дѣти.

Мои дѣти, — ихъ души тоже уже въ плѣну. Теперь уже они слушаютъ секреты няни; они съ дѣтскимъ страхомъ и тревогой смотрятъ на островъ, играютъ непременно у пролива, отдѣляющаго его отъ суши, и знаютъ, что мать постоянно думала о *нихъ*. Моя Вѣра—ей 12 лѣтъ—копитъ деньги для какихъ-то тайныхъ цѣлей, извѣстныхъ нянѣ, для плановъ, разрушать

которые старуха не считаетъ нужнымъ, а я не смѣю. Я не смѣю коснуться того, что было свято для моей Ани и что, въ видѣ смутнаго предрасположенія, она передала Вѣрѣ. Сынъ мой, подражаетъ сестрѣ. Между собой и съ нянькой они много говорятъ о *нихъ*. Я слышалъ и не могу мѣшать.

Но я боюсь. Нельзя расти ребенку съ душой, омраченной такимъ ужасомъ.

Тринадцать лѣтъ! Для меня они были жизнью — слѣдовательно, тяжелымъ, мучительнымъ процессомъ; но все-таки жизнью. Воздухъ, небо, солнце и свобода — были всегда моими. Я могъ любить, имѣть жену, дѣтей, могъ строить планы и осуществлять; могъ идти къ побѣдѣ и уходить отъ пораженія. Проще: могъ имѣть въ жизни *выборъ*. А тамъ эти тринадцать лѣтъ мертвы, однообразны, среди смерти и безумія, безъ проблеска и смѣны, тянулись жестоко медленные... Что сдѣлали они съ людьми? Что дѣлаютъ *они* тамъ? Вѣрно, кто въ силахъ, — ходитъ... Ходятъ въ клѣткахъ дни, недѣли, годы. И думаютъ. О чемъ? И борются съ холоднымъ, мертвымъ камнемъ.

Сентябрь 1897 г.

Увезъ дѣтей и отдалъ въ Петербургъ въ гимназію. Пусть растутъ съ дѣтьми, а не съ тѣнями замученныхъ людей! И подальше отъ старухи. У той — это единственная мысль. Навязчивая идея.

Ну, а я? Пью водку; служу. Но даже я каждую ночь слышу, слышу ясно, шлепающіе тихіе шаги.

Ходятъ! ходятъ въ своихъ тѣсныхъ клѣткахъ...

И не могу спать. Иду къ старухѣ. Та спитъ тихимъ сномъ стараго младенца.

— Савельевна,—бужу ее,—что, слушай, многіе живы?

Старая открываетъ глаза и, не понимая, удивленно смотритъ на меня и креститъ и шепчетъ:

— Христось съ тобой, Христось съ тобой, спи, ночь... Аль что попритчилось?..

Іюнь 1904 г.

Сегодня пріѣхали изъ Петербурга дѣти. Вѣра окончила гимназію.

— Вступаю въ жизнь! — говоритъ она мнѣ сегодня вечеромъ, и глаза ея блещутъ счастьемъ и надеждой.

Я молча поцѣловалъ ея головку.—Жизнь! Я тоже находилъ ее прекрасной, пока не свелъ знакомства съ моей сосѣдкой. Что о жизни сказали бы *ты*? Какими глубокими и страшными словами назвали бы они ее,—они, двадцать лѣтъ замурованные въ склепъ?

Поздно, почти ночью я увидѣлъ Вѣру, идущую домой.

— Откуда ты?

Она молча показала мнѣ рукой на черную тѣнь чудовища. Она ходила поклониться *имъ*. Да, молча поклониться до земли. Дѣти родились и выросли и стали взрослыми людьми, а они все—тамъ. Больные, истомленные старики...

Показала и молча погрозила кулакомъ.

— Да, Аня, вотъ чего мы съ тобой не знали! — Оттого...

Сентябрь 1904 г.

Старуха прибѣжала сегодня, должно - быть, отъ „жандара“; слышу“ суетится, зажигаетъ свѣчи передъ иконами, лампадку, — и старческимъ своимъ голосомъ бормочетъ что-то и всхлипываетъ. Черезъ минуту влетѣла ко мнѣ Вѣра, и съ плачемъ бросилась на шею.

— Вывезли, отецъ! — слышишь, вывезли! — а сама плачетъ, плачетъ и смѣется.

Вывезли, вывезли!...

Что? Сдалась-таки? Ослабѣла, наконецъ ослабѣла, проклятая?

Долго стоялъ я у окна и съ злобной радостью смотрѣлъ на чудовище, и точно торжествовалъ *свою* побѣду.

— Не будешь теперь, какъ кошмаръ, давить мою душу! Не будешь...

Но она по старому лежитъ распластавшись на низкомъ сѣромъ островѣ. Молча лежитъ притаившись, точно караулить, подстерегаетъ и ждетъ. Ждетъ чего?

— Ахъ, Аня, моя Аня...

Святая ночь.

Святая ночь всегда черна.

И вдвойнѣ черной должна она казаться народу, въ средѣ котораго родился Тотъ, чье торжество надъ смертью мы празднуемъ въ святую ночь.

До сихъ поръ это племя ждетъ въ святую ночь и слѣдующіе за ней святые дни, что послѣдователи Христа, озарившаго міръ великой любовью и „разверзшаго гробы мертвыхъ“, пойдутъ съ разбоемъ и убійствами на его соплеменниковъ и почтутъ ночь Воскресенія вакханаліей крови и звѣрства.

Вотъ почему святая ночь всегда черна.

Пусть поэтому другіе писатели рассказываютъ христіанамъ трогательные, свѣтлые, веселые пасхальные рассказы. Пусть, кто хочетъ, чтить свѣтлой радостью свѣтлый праздникъ.

Я знаю, что и нынѣ тысячи и тысячи русскихъ гражданъ въ смертной тревогѣ ждутъ, не раздается ли гдѣ сигнальный выстрѣлъ, по знаку котораго на ихъ дома бросится человѣческое отребье. И потому я святую ночь почту воспоминаніемъ объ одномъ черномъ дѣлѣ; совершившемся нѣкогда подъ ея покровомъ, дѣлѣ старомъ и, въ то же время, столь современномъ.

Я расскажу вамъ о Срулькахъ.

Такъ называется пустынное; заброшенное мѣсто на берегу оврага, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Могилёва. Ме знаю, какимъ выглядѣло оно встарь. Теперь оно печально. Десятка два старыхъ кривыхъ березъ стоятъ надъ нимъ рѣдкой толпой, опустивъ до земли плакучія свои вѣтви, точно дряхлые сѣдые евреи въ длинныхъ пейсахъ, пришедшіе поплакать надъ могилами своихъ замученныхъ предковъ.

Ихъ замучили и убили въ Святую ночь 350 лѣтъ тому назадъ, и память о нихъ живетъ только въ смѣшномъ пренебрежительномъ названіи. Но въ архивахъ города хранятся акты, и въ нихъ любознательный современникъ можетъ почерпнуть доказательство, что и во времена Грознаго и Баторія, среди такъ называемыхъ христіанъ, было столько же „истинно-подлаго“ звѣрья, какъ и въ наши дни.

Дѣти Израиля,—„Срульки“—появились въ Могилевѣ въ половинѣ XVI вѣка. Они пришли изъ Польши, гдѣ становилось тѣсно и трудно жить, гдѣ начались гоненія. Сыны Израиля откомандировали тогда посольство на востокъ, и три сѣдобородыхъ мудрыхъ еврея пришли и стали передъ чинами могилевского магистрата.

Потомки почетныхъ гражданъ стараго Могилева населяютъ и теперь предмѣстья города: Луполово, Дебрю, Дубровенку. „Именитые мѣщане“,—кожемяки, лавочники и скорняки,—они и теперь живутъ въ дебряхъ союза русскаго народа, и охотно являются по его зову „лупить жидовъ“.

Воображаю, что это были тогда за фигуры! Толстые, тупые, съ лукаво-недовѣрчивыми заплывшими глазами, въ синихъ до пятъ кафтанхъ сидѣли они въ ратушѣ, какъ истуканы, эти почтенные „отцы города“, и слушали вкрадчивую и осторожную рѣчь пословъ.

— Мы изъ Ломжи,—говорили имъ депутаты; мы тамъ живемъ давно и хвалимъ Бога, потому что люди довольны нами, и мы людьми довольны. Но только община наша умножилась, и хотя это — благословеніе Божіе, но стало намъ на Ломжѣ тѣсно. Поэтому стали мы искать хорошихъ мѣстъ и узнали, что есть хорошій городъ Могилевъ, и что управляетъ имъ мудрый изъ мудрыхъ магистратъ. И сказали намъ наши старѣйшины: идите въ Могилевъ и станьте передъ магистратомъ, и поклонитесь ему, и поднесите французскаго бархату, шленскаго сукна и серебряныя издѣлія, и просите привилегію нашей общинѣ жить и торговать въ городѣ Могилевѣ.

Ратманы взяли подношенія и долго ихъ щупали и смотрѣли на свѣтъ. И такъ какъ все было перваго сорта, то они взяли подарки, и снова усѣлись и стали шептаться о томъ, что подарки хороши, но что ихъ мало. А старые евреи покорно и робко отошли въ сторону и ждали.

Не надо думать, что въ XVI вѣкѣ дипломатія алчности отсутствовала. Торгаши изучили ее много раньше. И потому, пошептавшись, магистратъ облекъ пробудившуюся алчность въ форму категорическаго отказа.

— Ня можно!

Депутаты не даромъ, однако, назывались мудрыми людьми. Они немедленно сказали новую льстивую рѣчь и принесли новые подарки, — тонкое полотно; сафьянъ и золотыя бездѣлушки.

Магистратъ смягчился, но виду не показалъ, и отказалъ во второй разъ. И только послѣ третьяго подарка самый экспансивный изъ ратмановъ спросилъ:

— А якая-жъ за васъ буде намъ польза?

— Якій интересъ? О, интересъ будетъ. Они откроютъ торговлю; они создадутъ пути сообщенія; будутъ скупать кожи; привлекутъ капиталы; процвѣтетъ городъ...

— А гроши у позыку дадите?

— Гроши? А якъ же не дать гроши панамъ ратманамъ? Куму же и дать, когда не ратманамъ?

— Дадимъ, дадимъ, сколько треба...

Это былъ аргументъ. И ратманы, именитые мѣщане, предвкушая сладость займовъ и вымогательствъ, дали просимую грамоту. И четыреста еврейскихъ душъ переселились въ теченіе года въ Могилевъ.

Еврейскіе ходоки сказали правду. Городъ процвѣлъ и началъ обстраиваться. Торговля процвѣла, и много денегъ перешло изъ еврейскаго кармана въ руки тупыхъ, но жадныхъ имени-тыхъ гражданъ Могилева.

Но, сказавъ правду, они сказали не всю правду. Торговля процвѣла, но мѣщанскія лавки съ гнильемъ и дорогими цѣнами, съ обмѣромъ

и обвѣсомъ—опустѣли. Дома росли, какъ грибы,—но это были еврейскіе дома. Въстѣ съ золотомъ въ еврейскихъ бумажникахъ лежали долговые обязательства. Кожи, дѣйствительно, ушли на западъ, въ Вильну и Варшаву, но цѣны на нихъ ставили „жиды“. Быстро и неудержимо, тысячами путей захватывали пришельцы въ свои руки всю дѣловую жизнь города, становились его истинными хозяевами. На Луполовъ, на Дебрѣ тупое и хищное мѣщанство съ тревогой начинало смотрѣть на этотъ стихійный, казалось, процессъ. Оно не хотѣло объяснить его интеллигентностью пришельцевъ, ихъ дѣловитостью, энергіей въ работѣ, бережливостью въ жизни, и скромностью потребностей. Оно искало въ своихъ звѣриныхъ мозгахъ звѣринаго объясненія, и нашло его.

— Нячистый помогает!

Перемѣна коснулась, однако, не только дѣлового міра. Она шла глубже и проникла въ нравы. Вслѣдъ за отцами, къ еврейскому карману нашли дорогу и сынки, и протирая занятымъ деньгамъ очи, наполнили городъ безчинствами и дебошами, т. е. тѣмъ, на что были способны. Съ другой стороны, мѣщанскія дѣвицы съ завистью глядѣли на роскошные наряды красавиць-евреекъ, когда онѣ въ субботу чинно гуляли по улицамъ, сверкая камнями и золотомъ, и стали требовать у матерей нарядовъ и украшеній...

„И развратились нравы“, говоритъ современникъ, описывающій трагедію перваго могилев-

скаго погрома. Развратились нравы людей, никогда не знавших нравственности, — звѣринные нравы.

Тогда вступилось въ дѣло духовенство. Сотни лѣтъ занятое требами и поборами, оно увидѣло въ „духъ новаго времени“, охватившемъ паству, угрозу себѣ и своимъ доходамъ, и встрепелось. Никогда съ церковной кафедры не гремѣли такія краснорѣчивыя проповѣди и противъ роскоши и мотовства, а, кстати, и противъ соблазнительей—евреевъ, христоубійцъ.

Вокругъ еврейской общины начинали собираться тучи. Неизвѣстно, кто первый пустилъ въ оборотъ мысль, чрезвычайно простую и, казалось, способную радикально разрѣшить всѣ недоразумѣнія, покрыть всѣ долги; вернуть нравамъ первобытную чистоту. Но мысль была къмъ-то пущена въ ходъ, и прижилась, какъ зараза въ гниломъ организмѣ.

— Перебить жидовъ, да и дѣло съ концомъ!

Сначала ее встрѣчали, какъ шутку, и реготали. Потомъ начали задумываться надъ нею и находить, что она не лишена достоинствъ. Когда же, съ теченіемъ времени, развивавшаяся мысль дополнилась соображеніемъ о томъ, что, перебивъ жидовъ, можно не только не платить долговъ, но и пограбить все остальное жидовское добро,—то судьба еврейской общины была рѣшена.

— А и богато-жъ у нихъ, у парховъ, грошей!—мечтательно соображалъ теперь могилевскій мѣщанинъ, глядя на дома и лавки своихъ

кредиторовъ, и укрѣплялся въ своей благочестивой мысли.

Духовное убожество, житейская неумѣлость, отсутствіе всякой культуры, дикость нравовъ, звѣриная жестокость, жадность на деньги, то своеобразное извращеніе религіознаго чувства, которое сопутствуетъ преобладанію въ религіи обрядовой стороны,—все способствовало тому, что шалая мысль, брошенная невѣдомо кѣмъ, стала общимъ и твердымъ рѣшеніемъ, и передъ могиловскими дикарями всталъ вопросъ о срокѣ.

Когда же и заняться добрымъ дѣломъ, какъ не на Пасхѣ, какъ не въ свѣтлый праздникъ? Это такъ естественно, что ни у кого изъ добрыхъ христіанъ не возбуждало сомнѣній.

Поэтому страстная недѣля прошла въ обычныхъ говѣніяхъ, посѣщеніяхъ храмовъ, покаяніяхъ во грѣхахъ, а также въ усиленной бѣготнѣ и секретныхъ переговорахъ о погромѣ...

Во главѣ дѣла стали „отцы города“, члены магистрата, тѣ, кто выжалъ изъ жидовъ всего больше денегъ и былъ всего больше долженъ. Какіе же были бы они отцы города, если бы не взяли на себя первой роли въ патріотическомъ поступкѣ?

Они сговорились, распредѣлили кварталы, организовали отряды „молодцовъ“, составили стратегическій планъ кампаніи. Они назначили для бойни первый день свѣтлаго Христова Воскресенія. И рѣшили, что сигналомъ послужитъ похоронный звонъ колокола на колокольнѣ Братства.

Но у богатыхъ людей всегда имѣются друзья, иногда бываютъ они и у добрыхъ. И такъ какъ среди евреевъ было много богатыхъ и не мало хорошихъ и добрыхъ людей, то до нихъ скоро дошли слухи и вѣсти, сначала о растущемъ среди мѣщанства озлобленіи, а затѣмъ о принятѣмъ кровавомъ рѣшеніи.

Въ пятницу вечеромъ одна христіанская дѣвушка прибѣжала подъ покровомъ вечернихъ сумерекъ въ домъ рабина, Іосиля Тейхеля, и рассказала, что въ домѣ ея отца, послѣ выноса плащаницы, собрались всѣ уважаемыя лица города, и постановили на первый день праздника перебить всѣхъ жидовъ и разграбить ихъ дома.

Тейхель былъ мудрый и рѣшительный человекъ. Онъ выслушалъ дѣвушку и спокойно велѣлъ молчать своимъ двумъ дочерямъ и старушкѣ матери, велѣлъ молчать, не плакать и не поднимать шуму. Потомъ сѣлъ за субботнюю трапезу и ласково болталъ и успокаивалъ свою семью. Но про себя горячо молился Богу объ избавленіи. Ночью онъ имѣлъ свиданіе со старѣйшинами общины, и такъ какъ вѣсти, принесенныя дѣвушкой, подтвердились, старѣйшины рѣшили бѣжать.

Это рѣшеніе окрѣпло вполне въ субботу, потому что сотни еврейскихъ глазъ увидѣли чрезвычайное оживленіе среди христіанской молодежи, задиравшей евреевъ и не стѣснявшейся угрожать имъ. Поэтому Тейхель, окончивъ чтеніе закона, велѣлъ закрыть дверь въ синагогу, и умоляя общину не давать волю чувствамъ, не плакать и не обнаруживать тревоги, объявилъ

ей о принятомъ рѣшеніи бѣжать отъ смертной опасности. Онъ краснорѣчиво говорилъ и напминалъ о бѣгствѣ изъ Египта, изъ Испаніи, изъ Германіи. О тысячахъ страданій, черезъ которыя Богъ гнѣва провель излюбленный народъ; о тысячахъ мученій, которыя еще предстоятъ народу, не имѣющему отечества на землѣ потому, что вся земля будетъ ему отечествомъ въ тотъ день, когда придетъ Мессія, обѣщанный Богомъ и пророками. И тихо плакалъ, не удержавъ собственныхъ чувствъ; и тихо плакала, вмѣстѣ съ нимъ, вся община, потрясенная ужасомъ и горемъ.

Потомъ, когда женщины и молодежь ушли, въ синагогѣ остались только отцы семействъ, и въ величайшемъ секретѣ рѣшили оставить дома и лавки съ товаромъ и все имущество на произволь разбойниковъ. Взять только золото, деньги и драгоценности, и бѣжать ночью, когда христіане будутъ въ храмахъ у заутрени, бѣжать за городъ и, пробравшись къ Днѣпру, сѣсть на приготовленныя лодки, и спуститься внизъ, по теченію рѣки.

Святая ночь всегда черна. И подъ покровомъ мрака, въ тотъ часъ, когда въ горящихъ огнями храмахъ раздавалось ликующее пѣніе о воскресеніи Христа изъ мертвыхъ, о торжествѣ жизни надъ ужасомъ смерти, сотни еврейскихъ семей въ смертномъ ужасѣ прокрадывались изъ домовъ, и скрываясь въ глубинѣ тьмы, у заборовъ, по закоулкамъ, безмолвными тѣнями безшумно двигались на сѣверъ.

Отцы и матери несли на рукахъ спящихъ малютокъ, дѣтишки, держась за фалды лапсердаковъ, скользили въ липкой весенней грязи слабыми ногами. Дряхлыя старухи и столѣтніе старики, согбенные и задыхающіеся, пронизывали полузрячими глазами ночную тьму, полную опасности, и всѣ дрожали и ждали, что, вотъ, крикъ ребенка обратитъ вниманіе „гоя“, или колеблющіяся ноги старика остановятъ бѣгство.

Вѣдь не было на этотъ разъ за ними волшебнаго столба, огнемъ освѣщавшаго имъ путь въ ночи и дымомъ закрывавшаго ихъ отъ слугъ фараона. Не было Моисея, и его волшебнаго жезла и послушныхъ водъ Чермнаго моря. И потому дѣти плакали и ноги вязли, и падая, теряя своихъ и задыхаясь, спѣшили они, призывая въ душахъ Іегову, оставить скорѣе проклятый городъ. Но ихъ замѣтили, несмотря на мракъ, несмотря на то, что бѣглецы тщательно обходили храмы, вокругъ которыхъ толпились люди. Ихъ замѣтили, и сначала вокругъ храмовъ, среди веселой праздничной толпы, пронесся слухъ:

„Жиды бѣгутъ!“

Потомъ онъ проникъ въ храмы, и вызвалъ волну любопытства и беспокойства. Съ клироса неслись ликующіе звуки о томъ, что разверзлись гробы мертвыхъ. Но молящіяся внимали не имъ, а шептались между собой о „жидахъ“ и ихъ богатствахъ.

Сначала опустѣли ограды храмовъ, и толпы любопытныхъ направились къ домамъ евреевъ, и нашли ихъ безлюдными и въ безпорядкѣ.

Началось расхищеніе, искали денегъ, искали золота, и не находили. Грабители входили въ азартъ, разгоралась алчность. Кто-то крикнулъ:

— У крамы! Разбивайте крамы!

И человѣческая волна хлынула къ лавкамъ, взломала двери и потащила шелкъ и бархатъ, тонкія сукна и вина, соль и желѣзо, кожи и посуду,—все, что было, все, чѣмъ торговали „пархи“.

Вѣсть о томъ, что грабятъ лавки, ворвалась въ церкви вмѣстѣ съ мыслью, что возьмутъ другіе и на долю медлительныхъ не останется ничего.

И мигомъ опустѣли церкви, а толпы христіанъ, и женщинъ, и дѣтей, бросились оттуда на площади, на улицы, въ дома и началась вакханалія всенароднаго грабежа и дѣлежа добычи.

Пока толпа дѣлила тряпки и дралась изъ-за оставленной рухляди, отцы города собрались на засѣданіе. Здѣсь немедленно обнаружилось, что денегъ и золота не найдено ниѣмъ.

— Жиды украли и золото, и серебро! Въ погоню!

И вооружившись топорами, шкворнями, дубьемъ, верхомъ и пѣшкомъ понеслось могилевское мѣщанство за бѣглецами.

— Уняли гроши! Пирябить! Пархи!

А евреи бѣжали, что было мочи, растянувшись длинной лентой по направленію къ рѣкѣ, гдѣ ихъ ожидали спасительныя лодки. Кто падалъ отъ слабости и страха, того хватали и несли. Несли на спинахъ старухъ мужчины, и матери—дѣтей, и бѣжали, какъ могли, отъ погони, отъ

ея дикихъ завываній, отъ конскаго топота, отъ настигавшей смерти.

Но не убѣжали. Смерть настигла, сначала остальныхъ и слабыхъ. Догнавъ, мѣщане убивали ударами желѣзныхъ шкворней и топоровъ, и грабили. Сначала нападали на взрослыхъ, оставляя въ сторонѣ дѣтей. Но когда замѣтили, что деньги спрятаны и подъ дѣтскимъ платьемъ, перестали щадить и ихъ.

Рабинъ Тейхель тяжело и медленно ступаль, неся на спинѣ старуху мать. Двѣ дѣвушки-красавицы несли въ тяжеломъ ящикѣ свитки священной торы и семисвѣчники. Ихъ нагналъ тотъ экспансивный ратманъ, который спрашивалъ у евреевъ, какая отъ нихъ будетъ городу „польза.“ Онъ не нашелъ своей пользы, убивъ всѣхъ четырехъ, такъ какъ Тейхель не былъ богатъ, и потому понесся дальше на своей толстой сивой клячѣ, махая окровавленнымъ шкворнемъ и сзывая свою рать.

Главная масса бѣглецовъ собралась на мѣстѣ, нынѣ называемомъ Срульки, потому что дорогу преградилъ неожиданно весенній потокъ, съ шумомъ мчавшійся по оврагу. Иные бросались въ его волны и тонули, другіе въ ужасѣ метались по холму, не зная, гдѣ искать спасенья, и гдѣ смерти. Сюда нагрянули пьяные кровью злодѣи, и здѣсь легло, какъ говорятъ документы, чetyреста еврейскихъ душъ.

Много часовъ продолжалось избіеніе и поиски разбѣжавшихся и попрятавшихся по ямамъ и

кустамъ взрослыхъ и дѣтей. Ихъ всѣхъ разыскали, всѣхъ ограбили и убили.

Солнце стояло высоко, былъ ясный день, день воскресенія Христова, когда усталые, но довольные мѣщане возвратились въ городъ, считая барыши, скрывая другъ отъ друга барыши, принесенные святою ночью.

Дома ихъ встрѣтили жены и дочери, которыя показывали имъ наряды, утварь, пуховики,—все, что удалось награть въ домахъ евреевъ.

Духовенство ходило по домамъ съ молитвой, и славя воскресшаго Христа, угощалось награбленными винами, и поздравляя съ свѣтлымъ праздникомъ, говорило, что безъ жидовъ будетъ лучше добрымъ христіанамъ и будетъ больше уваженія христовой церкви.

И были всѣ довольны, и радовались, отцы — награбленнымъ деньгамъ, матери — хозяйственнымъ запасамъ, дочери — нарядамъ прекрасныхъ еврейскихъ дѣвушекъ, сыновья — лихой забавѣ надъ „жидами.“ Радовались всѣ, потому что у всѣхъ была подлая, звѣриная душа.

Черезъ нѣсколько дней собрался магистратъ, и, въ виду того, что трупы заражаютъ воздухъ, велѣлъ побросать ихъ въ весенній потокъ, мчавшійся по оврагу.

И поплыли внизъ по оврагу, а затѣмъ по Днѣпру, трупы дѣтей съ разбитыми черепами, изуродованные трупы дѣвушекъ и стариковъ, разнося по всей странѣ вѣсть о томъ, какъ чтутъ христіане заповѣди Бога, положившаго душу свою за всѣхъ людей, вѣсть о томъ, какъ празднуютъ они свою святую ночь.

Память объ этомъ преступленіи исчезла, потому что прошло много времени. И только въ имени холма — Срульки — народъ сохранилъ его слѣдъ.

Я счелъ полезнымъ разсказать старую исторію въ поученіе потомкамъ, сохранившимъ всю звѣриную дикость могилевскихъ мѣщанъ временъ Баторія и Ивана Грознаго.

Ибо свято празднуютъ мѣстами и по сей день святую ночь на Руси.

Письмо издалека.

Итакъ, мой другъ, вы желаете знать, что побудило меня разводить въ Верхоянскѣ пѣтуховъ и совершенствовать конструкцію самолета, — вмѣсто того, чтобы заниматься полезной народно-устроительной дѣятельностью и благомысленно управлять „малыми сими“?

И въ тонѣ вашего вопроса звучить немножко неодобрѣнія и сожалѣнія?

Отвѣтить вамъ мнѣ трудно. Трудно изложить на лоскуткѣ бумаги многолѣтнюю исторію души. И потомъ, вѣдь такихъ, какъ я — тысячи; люди мало оригинальны: смотрите кругомъ, и вы поймете. Кромѣ того, моя мысль занята современнымъ, и только современно-интересное охотно выуживаетъ она изъ глубины моей памяти.

Вотъ, если хотите, одно такое событіе, давшее мнѣ толчокъ, я расскажу вамъ.

Мнѣ, въ качествѣ инженера, пришлось прожить около года, много лѣтъ тому назадъ, на Абаканскомъ желѣзодѣлательномъ заводѣ въ Минусинскомъ краѣ. Лѣтомъ я жилъ верстахъ въ десяти отъ него въ большомъ земледѣльческомъ селѣ.

Сибирское село того времени—это отдѣльное государство. Рядомъ съ нашимъ дорогимъ отечествомъ существуютъ Англія и Франція, суще-

ствуютъ гдѣ-то, далеко, и мы, русскіе, временами считаемся съ ними, но въ наши обывательскія будни они почти не вторгаются. Въ моей сибирской резиденціи существовали и Красноярскъ, и Иркутскъ, и еще другія отдаленныя страны, но въ нашу жизнь онѣ вторгались не чаще, чѣмъ Англія въ жизнь Россіи.

Деревня жила *своею* жизнью, пахала, сѣяла, справляла свадьбы, стонала и веселилась, и управлялась, въ сущности сама собою. Это потому, что главной властью были въ ней татары, —сылные татары.

Вы вѣрно знаете, что всѣсылные татары— конокрады. Почему? Отвѣтить можетъ только историческое изслѣдованіе; я же полагаю, что это историческій пережитокъ. Когда-то татары были въ Россіи законной властью, полными хозяевами: взымали налоги, казнили, ввели въ употребленіе кнутъ, ставшій съ тѣхъ поръ эмблемой, разоряли и миловали. 300 лѣтъ прошло такимъ порядкомъ. Внутреннее разложеніе ханства, съ одной стороны, ростъ русскаго народа, съ другой, истрежили, наконецъ, эту изжившуюся власть, свергли татарское иго послѣ тяжелой борьбы...

Съ тѣхъ поръ татары сдѣлались конокрадами.

Вы удивляетесь? Вы не видите необходимой связи? Но развѣ могутъ люди, триста лѣтъ насильничавшіе и не знавшіе на себя управы, стать вдругъ и сразу мирными гражданами, отказаться отъ вѣковыхъ навыковъ поведенія и привычекъ мысли? Вчера татаринъ тащилъ коня, — они, вы знаете, были кавалеристы, — а люди говорили:

онъ беретъ законную дань; сегодня говорятъ — онъ конокрадъ! Такъ вѣдь бываетъ всегда на свѣтѣ.

Итакъ, мы имѣемъ дѣло съ пережиткомъ. Пережиткомъ была, конечно, и та власть, которой пользовались нѣсколько десятковъ татаръ въ многотысячномъ русскомъ селѣ. Тѣмъ не менѣе, она была сильна, всеобъемлюща, непререкаема. Потому что пререкатель немедленно лишался лучшей лошади, а иногда и всѣхъ.

Всѣ сельскія дѣла обдѣлывались чрезъ татаръ. У нихъ было свое „управленіе“, т.-е. бюро, куда обыватели ходили для переговоровъ, просьбъ. Захочетъ кто-нибудь оттягать покось у сосѣда; или захочетъ лавочникъ открыть кабакъ, — онъ идетъ въ татарское бюро и говоритъ:

— Отцы! Желаю.

И кладетъ приличествующую мзду.

Отцы же бесѣдуютъ потомъ съ воротилами схода, и сходъ постановляетъ все, что нужно. Иначе—плакали наши лошадки!

Нельзя сказать, чтобы село мирилось вполне съ такимъ порядкомъ вещей: отдѣльныя, разрозненныя попытки свергнуть татарское иго—были, и даже часто. Но онѣ были разрознены и потому безсильны. Пошумить человѣкъ на сходѣ или начнетъ въ частныхъ разговорахъ сбивать недовольныхъ, и—темныхъ ночей вѣдь много—„гдѣ вы кони, бурн-сивы?“

Объединило деревню и дало ей силу на серьезное сопротивленіе—введенное татарами... какъ

бы это сказать?.. ну,—положеніе объ усиленной охранѣ.

Такія положенія не рѣдки: люди, разумные люди, какъ будто бы ослѣпнуть, и сами роютъ себѣ могилы, думая, что выкапываютъ кладъ. Надоѣло ли нашимъ татарамъ наживаться врозницу, или захотѣлось прикрыть свои дѣянія фиговымъ листомъ легальности, но они явились однажды на сельскій сходъ и предложили себя — въ пастухи! Они аргументировали такъ: будемъ мы пастухами — не станетъ воровства; ручаемся.

Сходу это, конечно, улыбнулось.

— Цѣна?

— Два рубля съ лошади.

Деревня ахнула: прежде пасли за тридцать копеекъ; въ селѣ болѣе 1000 лошадей. Ахнула — и отказала. Послѣ этого въ одну недѣлю уведено было 10 жеребцовъ. Нужно ли удивляться, что на слѣдующемъ сходѣ татарская охрана была принята. Прошелъ годъ, и цѣна за лошадь поднялась до трехъ рублей; въ тотъ годъ, когда я пріѣхалъ, эти безумцы подняли цѣну до пяти. Деревня взвыла. Татары перешли предѣлъ народной упругости. Собрался сходъ и постановилъ приговоръ о выселеніи всѣхъ татаръ, какъ конокрадовъ. Но извѣстно, что легче написать бумажку, чѣмъ исполнить. Иностранное государство — Красноярскъ — рѣшило вопросъ о поселеніи татаръ; только оно могло ихъ и выселить. Приговоръ пошелъ по невѣдомымъ инстан-

ціямъ, заскрипѣли перья, а татары между тѣмъ начали экзекутировать бунтовщиковъ.

Скверное было это лѣто. Лѣто—пора напряженнаго труда. Человѣчья и конская страда! И чуть не еженедѣльные пропажи лошадей инервировали село и доводили пострадавшихъ до безумія. Сходы собирались за сходами, писались приговоры, писались слезныя жалобы и по инстанціямъ и по болѣе чѣмъ страннымъ адресамъ: архіерею, управляющему заводомъ, мнѣ. Пріѣзжали власти, засѣдатель, исправникъ, былъ слѣдователь. Но татаръ не убирали. Да и не легко было это сдѣлать. Ихъ съ женами и дѣтьми было чуть не полтора ста человѣкъ.

Наконецъ, осенью пріѣхала комиссія, чтобы на мѣстѣ разобраться въ этомъ дѣлѣ и какъ-нибудь его порѣшить. Члены комиссіи—были все прекрасные, доброжелательные люди. Они, несомнѣнно, сочувствовали деревнѣ, хотѣли избавить ее отъ татарскаго ига, хотѣли поправить несомнѣнную бѣду.

— Гоните всѣхъ татаръ до послѣдняго,—говорилъ имъ священникъ.

Легко сказать—гоните! Во-первыхъ, не всѣ же они конокрады, относительно многихъ нѣтъ никакихъ данныхъ; во-вторыхъ, угнать не трудно, но они и на новомъ мѣстѣ будутъ красть...

И вотъ комиссія сидѣла, и потихоньку разбиралась, и все хотѣла все сдѣлать по-хорошему, безъ крайностей, къ общему удовольствію...

Уберемъ вожаковъ,—остальные будутъ сидѣть смирно...

Очевидно—надъ ними не капало.

Быль праздникъ; послѣ обѣдни мы всѣ собрались у батюшки на именинный пирогъ и мирно бесѣдовали, попивая и закусывая, когда вдругъ ворвался блѣдный, растрепанный дьячокъ и крикнулъ:

— Убиваютъ!

Вы мнѣ позвольте, мой другъ, не описывать вамъ подробно всего того, что было и что я видѣлъ. То, что я видѣлъ, было по истинѣ ужасно.

Два дня все село и сбѣжавшіеся изъ округа люди избивали и выжигали татаръ. Кто началъ, какъ началъ—это такъ и осталось неизвѣстнымъ. Извѣстно, что народъ, расходясь отъ церкви, услышалъ крикъ и увидалъ убитого уже татарина-конокрада и бѣгущую за другимъ толпу съ дубьемъ.

Тогда всѣми вдругъ овладѣло безуміе. Лопнула какая-то сдерживавшая нить—и многолѣтняя обида, долго подавляемая злоба залили все вокругъ кровью и слезами.

Послѣ первыхъ минутъ растерянности и испуга, послѣ первыхъ жертвъ народнаго гнѣва, татары вооружившись, организовали отчаянную защиту. Они зацерлись въ избахъ, отстрѣливаясь сквозь окна домовъ и щели заборовъ. Народъ бралъ эти крѣпости приступомъ, ломалъ ворота, разбивалъ стекла и пожарными крючьями вытаскивалъ изъ оконъ женщинъ и дѣтей.

— Чтобы не было и отродья! съ корнемъ!

Въ одномъ домѣ челоуѣкъ двадцать забрались на чердакъ и жестоко отстрѣливались; ихъ со-

жгли. Слѣпую дряхлую старуху-татарку спихнули въ рѣчку. Она какъ-то выкарабкалась на другой берегъ. Тамъ ее добили подростки лѣтъ 15—16.

Власти пытались остановить погромъ и не могли. Ихъ отстраняли:

— Было раньше вступаться, когда просили...

На третій день все улеглось само собою. Убито было человѣкъ шестьдесятъ татаръ и десятка два русскихъ. Остальные татары разбѣжались и попрятались. Потомъ былъ судъ; судили три раза, потому что никакъ не могли дать правильную мѣрку преступленію. Прокуроры блистали безпристрастіемъ, адвокаты разливались красивыми словами, а обвиняемые угрюмо и тоскливо сидѣли, потупя головы, и старая слѣпая татарка, убитая дѣтьми, гнила спокойно въ своей могилѣ.

Съ тѣхъ поръ я началъ видѣть въ улицѣ верховнаго владыку жизни, послѣднюю инстанцію, произносящую трагическій вердиктъ. Какъ истинный владыка, она рѣдко показываетъ людямъ свое лицо:—только тогда, когда подъ грязной грудой мелкихъ дѣлъ мелкихъ людей, жить человѣку становится невыносимо. Тогда говоритъ она въ громъ и молніи, въ пламени крови и пожара. Это—космическая сила.

Многочисленныя обиды, неудовлетворяемыя нужды, задушенные порывы сердца и требованія мысли,—они робки, пока живутъ въ домахъ, подъ крышей. Ихъ тогда можно игнорировать.

Но если село постановляетъ приговоръ на схо-

дѣ, если робкіе стоны облеклись въ слова, то каковы бы ни были эти слова—ихъ должно слушать, имъ должно итти навстрѣчу смѣло и прямо.

Иначе слова обращаются въ грозные вопли, протянутыя, просящія руки — въ пожарныя крючья, и улица вступаетъ въ свои жестокія права.

Такъ думалъ и чувствовалъ я и тогда; и потому пошелъ на зовъ, на еще тихій зовъ рождающагося изъ стона слова, который для моего чуткаго слуха прозвучалъ на улицѣ. Другіе не слышали и не пошли.

Поэтому я дошелъ до разведенія пѣтуховъ.

Вы желаете объясненія, что это такое? Это веселая исторія, и потому я расскажу вамъ ее.

У меня тамъ, въ юртѣ, родилась дочь. И мы съ женой рѣшили, что ей, когда она придетъ въ соотвѣтственный возрастъ, понадобятся яйца и цыплята. Поставили вопросъ на обсужденіе и коллективный разумъ всей колоніи не только рѣшилъ вопросъ положительно, но и измыслилъ практическіе способы осуществленія. Верстъ за 500, отъ одного попа, послѣ полугодовыхъ поисковъ, доставлены были намъ курица и пѣтухъ.

Затѣмъ, по законамъ природы, появились яйца, и, наконецъ, курица, изъявила готовность высидѣть изъ нихъ цыплятъ.

Тогда мы призвали агронома, нашего ученаго товарища, магистра сельскаго хозяйства. Онъ долго колдовалъ надъ яйцами, мѣрилъ ихъ, опредѣлялъ отношеніе длины ихъ осей и, отобравъ десятокъ, объявилъ, что изъ этихъ выйдутъ все курочки,—что намъ и было нужно.

Когда черезъ три недѣли изъ яицъ вылупились пуховые шарики на ножкахъ, онъ осмотрѣлъ ихъ вновь и помычалъ; но еще черезъ 2—3 недѣли вновь объявилъ, что его прогнозъ вѣренъ и что все это — куры. Конечно, мы были рады.

Но радости непрочны. Нашъ пѣтухъ вдругъ издохъ. Издохъ единственный представитель сильного пола. И на рукахъ у насъ осталось 11 бѣдныхъ вдовъ. Опять заработалъ коллективный разумъ, опять начались поиски,—пока безплодные.

Удрученные неудачей, сидѣли мы у камелька, когда изъ котуха раздался странный, хриплый крикъ. Сначала никто не понялъ: что это?

— Да, это же пѣтухъ!

Пусть, наука потерпѣла поражение! Жизнь и ея требованія торжествуютъ, ура!

Наша радость однако, умѣрилась, когда дня черезъ два къ немножко выправившемуся пѣтушину крику первенца присоединился хриплый басокъ второго; и она совсѣмъ увяла, когда недѣли черезъ полторы всѣ десять предполагаемыхъ куръ орали пѣтухами.

Бѣдный магистръ агрономіи! Въ то время Поль Бурже и К^о вели свой походъ противъ науки, и, я долженъ признаться, мы всѣ были на его сторонѣ. Бѣдный Золя имѣлъ лишь одного союзника—нашего ученаго предсказателя. Но какой же это былъ союзникъ?

А, знаете мой другъ, вѣдь это почти общая судьба надеждъ... И я боюсь, я боюсь серьезно,

что и въ наши дни склонность внимательно слушать голосъ улицы, слушаться слова, наконецъ, громко сказаннаго, совсѣмъ невелика. И что надежда на это тоже... тоже верхоянскій пѣтушокъ.

Трубочисты.

Вы думаете, можетъ быть, что о трубочистахъ не стоитъ бесѣдовать? Но почему-же?

Потому, что они маленькіе люди, лазятъ по крышамъ, черны отъ сажи и таскаютъ на плечахъ веревку съ гирей?

Но развѣ мы-то—большіе люди? Развѣ мы не простые обыватели? И развѣ униженнѣе положенія обывателя можетъ что быть для человѣка, мечтавшаго стать гражданиномъ?

И тѣмъ, кто ползаетъ въ грязи и живетъ въ темномъ подвалѣ, не видя солнца, нечего презирать лазящаго по крышѣ. Развѣ они не ближе къ солнцу?

Я думаю также, что всѣ мы черны. Одни отъ черныхъ дѣлъ, другіе отъ черной жизни, и вымазанный черной сажей трубочистъ можетъ, думаю, какъ равноправный членъ, сѣсть за столъ въ этой черной компаніи.

Веревка и желѣзная гиря? Друзья мои! Лучше имѣть ихъ на плечѣ, чѣмъ на шеѣ и на ногѣ.

Будемъ поэтому говорить о трубочистахъ и отбросимъ пустое чванство.

I.

Итакъ, Мейлахъ Бобицкій былъ трубочистомъ. И Сора, его жена, была женой трубочиста и

яблочной торговкой. Онъ цѣлый день лазилъ по крышамъ. Она цѣлый день—осенній, грязный и дождливый день—сидѣла на грязномъ перекресткѣ двухъ переулковъ на Антоколѣ. И въ результатъ ихъ дѣти, а дѣтей этихъ было ужасно много, не всегда были сыты.

Жили Бобицкіе на самомъ концѣ Антоколя, во рву. Изъ ихъ оконъ видѣнъ былъ высокій песчаный обрывъ, и, если поднять голову повыше,—прекрасныя сосны Звѣринца.

Прекрасное мѣсто, — такъ думали по крайней мѣрѣ трубочистъ и его жена. И прекрасная квартира, — немного кривая, немного темная, очень грязная, на песчаномъ қосогорѣ, во рву—но... но у многихъ вѣдь квартиры хуже,—и потому Бобицкіе каждый день благодарили Бога.

Правда, дѣти бывали голодны, платье ихъ походило на жеванную рвань, и сердце родителей часто болѣло, потому что они любили своихъ грязныхъ кривоногихъ дѣтей. Поэтому они часто, ложась спать, бесѣдовали о томъ, какъ помочь горю и достигнуть благосостоянія, и процвѣсти, какъ кринъ сельный въ долинѣ Іерихона.

Но странно, — бесѣды эти кончались обыкновенно ссорой. Это потому, что Мейлахъ всегда напиралъ на бездоходность яблочной торговли, а Сора видѣла причину въ томъ, что Мейлахъ приноситъ домой такъ мало денегъ.

И такъ какъ женщина обыкновенно обладаетъ большимъ практическимъ разсудкомъ, чѣмъ мужчина, и болѣе длиннымъ языкомъ къ тому-же, то послѣ седьмого ребенка Мейлахъ началъ и

самъ думать, что старый Капланъ, трубочистъ-подрядчикъ, обижаетъ его, Мейлаха.

Ихъ, простыхъ трубочистовъ, работало у Каплана человекъ пятнадцать; пятнадцать полуголодныхъ, измазанныхъ сажею людей, которые и въ праздники не могли до чиста смыть ее съ себя. Естественно, что агитаціонныя рѣчи Мейлаха нашли отзвукъ въ сердцахъ его компаньоновъ,—особенно тогда, когда и на Вильно распространилось таинственное дѣйствіе экономическихъ законовъ, обитающихъ въ какихъ-то невѣдомыхъ сферахъ, но повышающихъ цѣны на хлѣбъ, огурцы, на картофель, и уменьшающихъ мѣсячную плату трубочистовъ.

Мейлахъ и его товарищи были хорошими трубочистами, но они были круглыми невѣждами; и потому они ничего не знали объ экономическихъ законахъ и винили во всемъ подлость Каплана.

Капланъ былъ такой же глупый трубочистъ, какъ и Мейлахъ. И въ отвѣтъ ссылался на подлость домовладѣльцевъ и на мужиковъ, которые сдѣлали все дорогимъ.

— Ну, и что вы отъ меня хотите?—кричалъ онъ. — Я и такъ разоренъ! Я вамъ еще рубль сбавлю. Что, вы хотите, чтобы я голый по улицѣ пошелъ, чтобы я нищимъ сталъ?

Выходилъ споръ, въ которомъ никто не умѣлъ розыскать виновнаго. Но виноватаго надо было найти, такъ какъ годъ былъ дѣйствительно тяжелый. Для Мейлаха виноватымъ могъ быть только Капланъ, это ясно. Это онъ платилъ сначала

9 рублей въ мѣсяцъ, и теперь 8. Что въ томъ, что онъ ссылается на другого и третьяго винюватаго за собой? Съ нихъ все равно не возьмешь ничегѣ. Да и вретъ онъ. Все это только хозяйская хитрость. Хитрый онъ, Капланъ, и подлый:—развѣ не онъ въ прошломъ году, когда Янкель свалился съ третьяго этажа и разбился на смерть и умеръ, зажилить ѹ вдовы его заслуженное жалованіе за двѣ недѣли? Развѣ не онъ...

Начали припоминать и припомнили много грѣховъ. И раскалились душой. Ходили требовать прибавки. Ругались, грозили,—ничто не помогло.

— Да вы сдѣлайте ему штрейкъ, — говорили трубочистамъ желѣзнодорожные слесаря, — чего ему въ зубы смотреть?

Но сдѣлать штрейкъ легко, когда есть запасъ. А когда нѣтъ — тогда штрейкъ обыкновенно не удастся. Поэтому не удался онъ и у трубочистовъ. И знаете, кто первый пошелъ къ Каплану на поклонъ? Мейлахъ. Агитаторъ Мейлахъ! Это не значило, что онъ былъ плохой товарищъ. Нѣтъ,—просто онъ очень жалѣлъ своихъ дѣтей, а ихъ было у него 7 штукъ. Такова жизнь!

— Ну, я другихъ возьму, а тебя не возьму, — сказалъ Капланъ,—ты агитаторъ.

И долго пришлось Мейлаху просить и кланяться и унижаться, чтобы смягчить Каплана. Поэтому онъ и получилъ теперь только 7 рублей.

— Ну, Сора, теперь уже ты выручай,—говорилъ онъ дома, укладываясь спать.—Ты подбила меня. И вотъ, смотри, что вышло. Теперь торгуй больше своими яблоками, а то мы пропадемъ.

Но Сора была женщина воинственная, и жизнь на улицѣ дала ей множество знакомствъ. Всѣмъ имъ рассказывала она о подлости Каплана, и кляла и Каплана, и Мейлаха, и жизнь, и дѣтей, и все.

Потому неудивительно, что она встрѣтила, наконецъ, сочувственную душу, которая дала ей добрый совѣтъ.

— А вы зачѣмъ не скажете комитету? Комитетъ вамъ поможетъ.

Долго вечеромъ не спали супруги. Что за комитетъ? Что онъ можетъ сдѣлать? Что существуютъ демократы, и что у нихъ есть комитетъ—объ этомъ Мейлахъ слышалъ кое что, изъ пятого въ десятое. Но ничего толкомъ. До того ли человѣку, [который живетъ на крышахъ, вымазанъ сажей, и у котораго 7 человѣкъ дѣтей?

Итти въ комитетъ, или не итти? Но такіе вопросы трудно рѣшать тому, передъ кѣмъ много дорогъ. А Мейлахъ зналъ, что у него одна дорога—на крышу.

Дѣлалъ штрейкъ,—не удалось. Нигдѣ ни помощи ни защиты. А тутъ комитетъ.

— Что онъ можетъ помочь.

— О, комитетъ! Кто и поможетъ, если не онъ? У него и касса есть, онъ и штрейки умѣетъ устраивать. Кто сокрушилъ Финкельштейна?

Такимъ-то образомъ и установилась связь трубочистовъ съ комитетомъ—черезъ Мейлаха.

Тамъ онъ узналъ много новаго и важнаго, узналъ, что его Капланъ—капиталистъ и эксплуататоръ, что долгъ рабочаго бороться противъ

эксплуатаціи. Что нужна солидарность. Что солидарность выражается въ помощи комитету и помощи комитету. Что это путь къ благосостоянію и независимости.

Было бы странно, если-бы всѣ эти новыя мысли и новыя свѣдѣнія не увлекли и не очаровали Мейлаха. Было бы еще болѣе странно, если бы онъ таилъ ихъ про себя и не рассказывалъ бы, сидя на крышѣ и спуская метелку съ чугунной гирей въ трубу, о томъ, чѣмъ полна была его голова и душа, своему товарищу.

Да, такимъ то вотъ образомъ и сдѣлалась вся каплановская артель жертвой превратныхъ идей.

А Капланъ между тѣмъ сталъ жертвой правильныхъ идей. Онъ вполне правильно разсудилъ, что несправедливо платить 8 руб. всѣмъ плохимъ трубочистамъ, когда король трубочистовъ, бриллиантъ среди трубочистовъ, Мейлахъ, получаетъ 7. И такъ какъ времена были тяжелые, годъ плохой, мука дорогая,—онъ возстановилъ справедливость, сбавивъ всѣмъ до семи.

Тогда началась исторія.

Исторія есть наука, которая рассказываетъ то, чего не было, и не рассказываетъ того, что было. Совершенно очевидно, что иначе и не можетъ быть. Поэтому мы и не можемъ возстановить фактовъ въ ихъ истинной связи. Достаточно того, что были слѣдующіе факты.

Каплана побили два трубочиста. Ихъ имена были извѣстны, и частный приставъ посадилъ ихъ въ кутузку. Потомъ Каплану побили окна, но кто это сдѣлалъ—неизвѣстно, и никто за это

въ кутузкѣ не сидѣлъ. Но Капланъ сказалъ, что это комитетъ, и что Мейлахъ комитетчикъ. Тогда у Мейлаха и у другихъ сдѣлали обыскъ и нашли какіе то листки, и Мейлаха и другихъ отвели уже въ тюрьму. А затѣмъ Каплану облили лицо сѣрной кислотой. Таковы факты.

Тѣ, кому такіе факты вѣдать надлежитъ, сдѣлали изъ нихъ исторію. Т.-е. связали ихъ такъ, какъ связываются всякіе факты всякой исторіей. Вышло такъ, что Мейлахъ членъ комитета, и что комитетъ, желая взбунтовать трубочистовъ, началъ среди нихъ агитацію, и организовалъ покушеніе на хозяина, исполненное неизвѣстнымъ членомъ комитета, по всей вѣроятности, трубочистомъ.

Но извѣстно, что исторія дѣлается медленно. Поэтому Мейлахъ и его товарищи сидѣли въ тюрьмѣ очень долго—и весну, и лѣто, и осень. И все это долгое время Сора ходила съ своимъ лоткомъ къ воротамъ тюрьмы и торговала тамъ то пирогами и булками, то маковниками и яблоками, — тѣмъ, что было по сезону. Въ воскресенье она ходила на свиданіе, а въ будни, продавая черезъ рѣшетку свои булки и яблоки арестантамъ, просила сказать Мейлаху и то и другое, спрашивала его о третьемъ и о четвертомъ.

И такъ какъ это было „недозволенное сношеніе“—платила надзирателямъ и булками и яблоками.

Конечно, она дошла такимъ образомъ до предѣла нищеты. Но еврейское племя, — живучее, упругое племя. Поэтому, когда Мейлаху и това-

рищамъ пришлось уѣзжать въ Восточную Сибирь, и жены пришли прощаться съ мужьями,— Сора не плакала. Другія женщины ревѣли и малодушествовали, но Сора, сверкая громадными глазами на обтянувшемся лицѣ и громадными зубами среди бѣлыхъ какъ бумага губъ, говорила своему Мейлаху:

— Ты не горюй, мы не пропадемъ. Я теперь большая торговка, — ухъ, какая большая! Ну, и ты. Или тамъ людей нѣтъ увъ этой Сибири? Или можетъ тамъ совсѣмъ домовъ нѣтъ? Или дома безъ трубъ? Ну, ты будешь тамъ трубы чистить, и еще подрядчикомъ сдѣлаешься, и у насъ будетъ грошей больше, чѣмъ когда либо. Не горюй!

Должно, однако, сказать, что Мейлахъ горевалъ. Горевалъ и малодушествовалъ. Что въ томъ, что онъ научился пѣть и „Варшавянку“ и „Марсельезу“? Что въ томъ, что онъ прошелъ „политическій университетъ“? Онъ, привыкшій къ крышамъ и чистому воздуху съ доброй примѣсью черной сажки, совсѣмъ завялъ въ четырехъ стѣнахъ подъ низкими сводами и жилъ охваченный тоской и страхомъ за себя и за дѣтей и за храбрую Сору.

И онъ былъ правъ. Потому что между виленской крышей и Восточной Сибирью не только большое разстояніе, но и большая разница.

II.

Блѣдный и опухшій вышелъ Мейпахъ изъ тюрьмы. И такъ-же растерянно, какъ и онъ, смот-

рѣли вѣкругъ тѣ трубочисты, которые вмѣстѣ съ нимъ отправлялись въ Москву.

Въ Москвѣ, въ центральной пересыльной тюрьмѣ ихъ встрѣтилъ старшій надзиратель по политическому отдѣленію, Акимычъ. Акимычъ 30 лѣтъ служилъ старшимъ надзирателемъ и зналъ тюрьму лучше, чѣмъ свои пять пальцевъ. Всѣхъ проходившихъ черезъ его руки людей онъ классифицировалъ на основаніи признаковъ, извѣстныхъ ему изъ его долгаго изученія различныхъ сортовъ крамольниковъ..

— Это, вотъ, настоящій господинъ,—говорилъ онъ, глядя на арестанта, и велъ его въ „сѣверную“ башню, запиралъ особенно тщательно и шепталъ дежурному надзирателю:

— Посматривай!

Другихъ онъ, ковыляя на больныхъ ногахъ и добродушно поблескивая глазами изъ подъ нависшихъ бровей, велъ въ общую камеру „полицейской„ башни, запиралъ сообща и про себя думалъ:

— Народъ... тоже! куда ракъ съ клешней...

Увидя виленскихъ трубочистовъ, о которыхъ въ „препроводительныхъ бумагахъ“ были написаны не малые ужасы, онъ рѣшилъ:

— Шантрапа!

И такъ какъ тюрьма была переполнена и мѣстъ было мало,—онъ отвелъ ихъ въ большую общую камеру, гдѣ сидѣло уже челоуѣкъ двадцать уголовныхъ, и, запирая, сказалъ имъ:

— Сидите здѣсь... Сычи!

Это сычи, вѣдь, смотрятъ днемъ невидящими вытаращенными глазами, — какъ испуганный Мейлахъ.

Въ московской тюрьмѣ „сычамъ“ пришлось туго. Во-первыхъ, надо сказать, что ни на какомъ языкѣ, кромѣ жаргона, они толкомъ не умѣли говорить. По-польски они кое-что еще маракали; но Мейлахъ, выросшій въ еврейскомъ гетто и съ 10 лѣтъ работавшій въ еврейской артели, зналъ по-русски только десятокъ-другой словъ.

Въ Вильнѣ ихъ еще понимала тюремная стража, набранная преимущественно изъ мѣстныхъ людей, но въ Москвѣ они оказались почти безъ языка. Это во-первыхъ..

Во-вторыхъ, среди тюремныхъ „Ивановъ“ быть можетъ и можно жить, но для этого надо имѣть крѣпкіе зубы или нравственный авторитетъ. Всякое общество, а слѣдовательно и тюремное, уважаетъ силу и чему-нибудь поклоняется. Но у „сычей“ не было ни силы, ни способности импонировать тюремно-уголовному сброду.

Поэтому тюремные волки загнали этихъ тюремныхъ овецъ въ уголъ, окружили ихъ кольцомъ презрѣніи, и стригли, какъ только могли. Довольно трудно вести при такихъ условіяхъ борьбу за существованіе, и трубочисты думали, что для нихъ настали послѣдніе дни.

— Эй, вы, жида, выноси парашку, оралъ на нихъ камерный староста, матерой бродяга. И Мейлахъ послушно шелъ...

— Эй, ты! не суйся прежде отца съ матерью въ петлю! Дай людямъ поѣсть. Пospѣешь налoпаться.

И ѣли они одни обѣдки.

Половину вещей раскрали. Многое отняли силой.

— И куда тебѣ, жидовской мордѣ, на подушкѣ спать! Ишь, въ пуху весь вывалялся!

И подушка, которую любовно набивала перомъ Сора, поступала въ распоряженіе „Ивана“.

Сычи пробовали отстаивать свое добро,—ихъ побили; пробовали жаловаться, — путая слова, перебивая другъ друга, они изливали свое горе и свою обиду какому нибудь надзирателю, мѣшая слова трехъ языковъ.

— Да что вы ихъ слушаете, Николай Ивановичъ. Первые сквалыжники... Уберите ихъ отъ насъ Христа-ради. Всю камеру изгадили, жить съ ними, съ проклятыми, невозможно.

И долго слушая, и ничего не понимая, надзиратель наконецъ отходилъ, махнувъ рукой, и потомъ дѣлился мыслями съ товарищами.

— Не разбери, чего лопочуть... тоже—политическіе!

Такъ прожили, если это можно назвать жизнью, наши сычи до весны. Весной ихъ отправили въ большой арестанской партіи въ Сибирь. Сидѣли въ Самарѣ. Сидѣли въ Красноярскѣ. Сидѣли въ Александровской тюрьмѣ. Цѣлый годъ прошелъ въ этомъ тюремномъ шатаніи, въ ночевкахъ по этапамъ. И такъ какъ репутація чelовѣка складывается одинъ разъ и, сложившись,

трудно поддается измѣненію, то въ теченіе всего этого года во всевозможныхъ партіяхъ, въ которыхъ имъ приходилось сидѣть и ходить, наши трубочисты играли роль паріевъ, терпѣли презрѣніе и обиды.

Свѣдущіе люди рассказываютъ про курицу, что если ее загнать въ уголъ и очень напугать, то случается, что и курица клюнетъ. Надо ли удивляться, что насталь моментъ, когда наши до конца вымотанные, изнервничавшіеся, потерявшіе всякое душевное равновѣсіе трубочисты устроили скандалъ, на который никто не считалъ ихъ способными.

Дѣло было такъ. Стоялъ лютый сибирскій морозъ въ 50 градусовъ, когда партія человѣкъ въ двадцать отправилась изъ Александровской тюрьмы внизъ по Ленѣ. Ъхали на подводахъ, медленно отъ села къ селу, мерзли жестоко, такъ какъ собственное платье износилось, а арестантскіе полушубки плохо грѣютъ человѣческое тѣло. Такъ, кое-какъ добрались до большого приденскаго села, гдѣ, какъ они знали, живутъ товарищи, можно получить помощь, деньги, провизію.

— Мы хотимъ повидаться здѣсь съ товарищами.

— Нельзя.

— Позвольте, пожалуйста, мы очень нуждаемся. Позвольте...

— Не приказано. Нельзя.

— Ну, мы не поѣдемъ.

— Что?!

— Ну, да! Мы не поѣдемъ. Что вы думаете, что мы не люди? Мы! мы! мы!..

Въ добрыхъ людяхъ вдругъ загорѣлся огонь возмущенія. Махали руками, сверкали глазами, говорили всѣ разомъ, истерически кричали. Всѣ были во власти охватившаго ихъ нервоза, готовые драться, готовые умереть. Сразу сказала вся долго скопившаяся боль, вся обида отъ безконечныхъ скитаній, униженій, отъ этой подлой тюремной жизни.

— Ишь, бѣснуются, дьяволы! сказалъ долго съ удивленіемъ и злобой смотрѣвшій на нихъ жандармскій унтеръ-офицеръ, плюнулъ и вышелъ въ другую комнату.

— Что съ ими дѣлать? спросилъ онъ у урядника.

— А что на нихъ глядѣть. Вотъ подойдутъ подводы. Скажу мужикамъ, они ихъ живо скрутятъ... повеземъ.

— Повеземъ..., успокоительно заговорилъ староста. Охъ, Господи! зѣвнулъ онъ и перекрестилъ ротъ. Возють, возють... спокою отъ нихъ нѣтъ, отъ проклятыхъ...

Приѣхали подводы. Человѣкъ десять большихъ тяжелыхъ чалдоновъ, въ громадныхъ вывороченныхъ мѣхомъ наружу тулупахъ, набились въ сѣни и бранились, что теряютъ время.

— Выходи; что-ли,—говорили они уряднику.

— Не идутъ, въ томъ и дѣло. Выволочить надо, видно. Ну, ребята, беритесь...

Чалдоны нехотя вошли въ комнату, гдѣ, сбившись въ кучу въ уголъ, кричала и кривлялась

дюжина черныхъ, оборванныхъ сумасшедшихъ существъ.

— Выходи!

Но они сбились еще тѣснѣй, сцѣпились руками и вдругъ... вдругъ заплѣли свою марсельезу.

Въ мірѣ все имѣетъ двѣ стороны. Героизмомъ отчаянія вызвано было это дикое нѣніе. Всю свою святую рѣшимость отстаивать свою личность, свое право, свое человѣческое достоинство отъ грубаго насилія вложили трубочисты въ нестройные вопли, въ гордые слова пѣсни.

Но для лѣсныхъ челдоновъ, покорителей природы, пропалъ и остался непонятенъ этотъ взрывъ человѣческихъ чувствъ. Они видѣли передъ собой дико и нелѣпо воющихъ обезьянъ. Чортъ ихъ нагналъ сюда, и такъ отъ нихъ нѣтъ покоя, вози туда, вози сюда, отрывайся отъ своего дѣла, а тутъ еще шумятъ, орутъ, безчинствуютъ.

— Ишь, нечисть... Что дѣлаютъ, что дѣлаютъ!

— Ну, чего горло дерете? Выходи, не то поволочемъ. Выходи!

Но обращаться къ людямъ, охваченнымъ экстазомъ,—все равно, что обращаться къ горѣ или лѣсу.

Тогда староста, большой кряжистый мужикъ, подмигнувъ глазомъ другимъ мужикамъ и громадной желѣзной рукой ухватилъ Мейлаха за плечо и потащилъ къ двери.

Дикій безумный крикъ пронесся надъ обрывками марсельезы, еще дребезжавшей и хрипѣвшей подъ низкимъ потолкомъ. Лампа упала и разбилась, и въ наступившей тьмѣ началось

что-то невообразимое. Бой буйволовъ съ дикими кошками. Визжа, цѣпляясь за лавки, за ноги, кусаясь, извивалась на полу одна сторона. Пыхтѣя и сопя, хрипло ругаясь, давила и вязала ихъ кушаками—другая.

— Огня! Тащи огня! Ишь, погань,—кусаются... Дядя Митрій, давай кушакъ, крути назадъ... Дрянъ! Я те покусаясь...

Черезъ четверть часа сраженіе было кончено. Всѣ „жиды“ лежали на полу съ туго-на-туго затянутыми на спину руками и съ связанными ногами. Истерзанные, полуголые, дикіе, тяжело дышашіе—лежали они рядами. Одни молча и конвульсивно вырывались изъ веревокъ, хрипѣли и скрежетали зубами. Другіе тихо стонали. Кто-то плакалъ.

Челдоны отерли потъ, оправились, вышли на улицу. Приходили, уходили. Ругались. Черезъ часъ начали выносить связанныхъ, беря ихъ за руки и за ноги и бросая въ сани на солому. Потомъ навалили, куда попало вещишки ихъ, подобранные на полу, закрыли связанныхъ шубами и халатами, сѣли и поѣхали...

Позади ѣхалъ жандармскій унтеръ съ урядниками. Передъ нимъ тянулась вереница саней съ двумя преступниками на каждыхъ. Открывали процессію еще два жандарма и десятскій. Ёхали гдѣ шагомъ, гдѣ трюшкомъ, мало думая о томъ, что живая, полуголая кладь дрогнетъ и мерзнетъ на лютomъ морозѣ.

Мейлахъ лежалъ зарывшись въ солому, закрытый тулупомъ. Съ нечеловѣческими усилія-

ми, ломая ногти, сдирая кожу, вертѣлъ онъ за спиною руками, туго связанными поясомъ. И когда проѣхали десять верстъ, одна окровавленная рука у него была свободна. Тогда онъ началъ тихонько, незамѣтно подтягивать ноги и ковырять веревочные узлы, которыми они были связаны.

Спускались съ горы, въ лѣсистый оврагъ, когда вдругъ изъ третьихъ саней съ крикомъ выскочилъ человѣкъ въ одной разорванной жилеткѣ, безъ шапки, и, махая руками, побѣждалъ внизъ по снѣжному скату, въ лѣсъ.

— Стой! Стой! Убегъ, проклятый! Держи!

Жандармъ, урядникъ, еще нѣсколько человѣкъ бросились догонять. Бѣжать въ кунгурскихъ валенкахъ, въ тяжелыхъ шубахъ и шинеляхъ было тяжело. Полуголый человѣкъ летѣлъ впереди быстро. Временами падалъ, вставалъ, стучался съ разбѣгу о деревья, снова валился въ снѣгъ и снова бѣжалъ, все дальше и дальше, въ дикий лѣсъ, въ тайгу, неизвѣстно куда, — но только прочь отъ людей, отъ пережитого ужаса.

Изъ догонявшихъ его, челдоны скоро отстали. Была нужда гоняться! Толстый жандармъ пыхтѣлъ и подвигался тихо. Только одинъ урядникъ, жилистый, сухой человѣкъ, держался ближе къ бѣглецу. Но, наконецъ, и онъ не могъ бѣжать, схватился рукою за сердце и остановился. Поглядѣлъ беспомощно назадъ, поглядѣлъ вслѣдъ Мейлаху...

— А, сучій сынъ, уйдетъ!

И вынувъ машинально револьверъ, выстрѣлилъ ему вслѣдъ.

Мейлахъ только что передъ тѣмъ упалъ, но вскочилъ опять и, махая надъ головой руками, побѣждалъ дальше. Послѣ выстрѣла онъ замахалъ руками еще быстрее, поднялъ ихъ еще выше и, пробѣжавъ еще нѣсколько шаговъ, сунулся лицомъ въ снѣгъ и остался лежать неподвижно.

Съ Мейлахомъ было кончено.

Съ остальными... Остальные кончили различно. Всѣхъ посадили въ тюрьму. Двое умерли отъ горячки, схваченной во время этого переѣзда. Про одного говорили, что онъ сошелъ съ ума. Остальныхъ развезли по селамъ и городишкамъ, но ни одному не пришлось болѣе чистить трубы. Въ сибирскихъ селахъ это дѣлаютъ изрѣдка сами крестьяне.

Но одинъ попавшій въ Киренскъ, сдѣлался печникомъ, дѣлалъ скверныя печи, однако, зарабатывалъ хорошія деньги. И когда его жена, жившая тоже на Антоковѣ, получала отъ него письма и деньги, Сора тяжело вздыхала и говорила:

— Бываетъ людямъ счастье!.. А мнѣ, бѣдной и съ малыми дѣтьми,—одно горе...

Вотъ и все, читатель.

Вы видите, что я былъ правъ, говоря, что трубочисты—предметъ достойный вниманія. Вся ихъ эпопея—цѣль дѣлъ и событій, связанныхъ между собою тѣсной связью логической и социальной необходимости. И ничего необычайнаго,

ничего оригинального. Со всякимъ изъ насъ, кто вступить нечаянно на ложную стезю исканія лучшей жизни, можетъ случиться все то, что случилось съ Мейлахомъ и его товарищами.

Дѣло бытописателя—изложить событія.

Дѣло мыслителя—вывести заключеніе.

Разные мыслители заключаютъ различно.

Н ю ш а.

Это было давно: графъ Лорисъ-Меликовъ составлялъ тогда проектъ своей конституціи... То было время, когда дѣйствительность довольно рѣзко расходилась съ надеждами, возбужденными въ части общества обновительными проектами всесильнаго, казалось, министра. По крайней мѣрѣ, я и мои товарищи,—человѣкъ 30 молодыхъ людей, интернированныхъ въ далекомъ поморскомъ городишкѣ,—не чувствовали вѣяній приближавшагося конституціоннаго режима. Кто въ этомъ былъ виноватъ,—сказать трудно. Можетъ-быть, дальность разстоянія; можетъ-быть, особенность нашего положенія. Мы, впрочемъ, склонны были приписывать тогда часть вины князю Нюшѣ—мѣстному исправнику. У него была, конечно, фамилія, и ее можно было прочесть и на адресованныхъ ему конвертахъ, и на подписанныхъ имъ бумагахъ; по праву, „Нюшей“ называла князя только его жена. Но таково свойство глухой провинціальной жизни: все семейное, все интимное, становится тамъ достояніемъ улицы. Улицѣ стало извѣстно, что обрюзгшаго отъ пьянства, вѣчно дебоширившаго уѣзднаго громовержца жена зоветъ „Нюшей“; это понравилось, и съ тѣхъ поръ всѣ,—чиновники, мѣщане и мы, невольные жители „Большой Сло-

боды“,—какъ будто забыли всѣ другія имена нашего князя.

Отношенія у насъ съ нимъ сложились курьезныя. Нѣкоторыхъ изъ насъ, дворянъ, людей состоятельныхъ и прилично одѣтыхъ, онъ дарилъ своимъ расположеніемъ: приглашалъ къ себѣ играть въ карты и пить коньякъ, смотрѣлъ сквозь пальцы на отлучки за городъ, на охоту... Онъ, видимо, считалъ либерализмъ одной изъ привилегій дворянства.

— Человѣку благовоспитанному я могу многое простить,—говорилъ онъ.—И я не осуждаю вашихъ идей, это дѣло—вашей совѣсти. Вы знаете, у меня самого одинъ кузенъ эмигрантъ. Но эти мужики,—туда же! Соціалисты!.. Приходить ко мнѣ и кричить: „Мои права!“ „Вы не имѣете права!“ Я ему покажу какія такія права...

Забравшись на этого конька, онъ могъ ѣхать до вечера. Это было скучно и глупо. Надоѣдало слушать болтуна. Патронируемый „дворянинъ“ поворачивалъ ему спину, и Ньюша надолго обижался и мстилъ.

Въ нашей средѣ было много рабочихъ и крестьянъ. Съ ними Ньюша былъ грубъ, вызывающе и преднамѣренно грубъ. Понятно, мы давали ему коллективный отпоръ, и подъ конецъ отношенія натянулись до такой степени, что каждое личное столкновеніе, каждый разговоръ кончался протоколомъ и отдачей подъ судъ. Я думаю, Ньюша тоже страдалъ отъ этой войны. Но таково было положеніе, что ни мы не могли уйти отъ него, ни онъ отъ насъ.

Какъ извѣстно, конституціонныя мечты такъ и остались мечтами 25 лѣтъ тому назадъ. Но мы, временные жители поморскаго городка, мы свергли иго князя Нюши, добились конституціи, вѣрнѣе, своеобразнаго „билля о правахъ“, и цѣлый годъ мирно почивали на завоеванныхъ лаврахъ. Это приобрѣтеніе куплено было цѣною долгой и упорной борьбы, которая въ моихъ воспоминаніяхъ носить названіе „борьбы за Конскую волю“. И я хочу ее разсказать.

„Большая Слобода“, въ которой мы жили,— это была небольшая кучка домовъ, безпорядочно расположенныхъ по двумъ улочкамъ и тремъ переулкамъ. Домъ отъ дома отдѣлялся пустырями; по переулку протекалъ ручей. Концы улицъ и переулковъ были загорожены заборами съ воротами въ нихъ, и такимъ образомъ „Большая Слобода“ была кругомъ замкнута, и въ этой загороди, площадью въ нѣсколько десятинъ, по заросшимъ травой переулкамъ и пустырямъ паслись отнятые отъ матерей телята. Мѣстные мѣщане всю площадь города называли поэтому „телячьимъ выпасомъ“.

Въ разстояніи верстъ двухъ отъ города его окружала вторая линія заборовъ, — такъ называемая поскотина. Здѣсь паслись безъ пастуховъ коровы, и потому все пространство между городомъ и поскотиной называлось „коровьимъ выгономъ“. Сюда же въ короткое сѣверное лѣто горожане любили ходить гулять. За поскотиной начиналась „Конская воля“. Тамъ все лѣто бродили косяки поморскихъ лошадей, уходя иногда на Печору, иногда подъ

Холмогоры и еще дальше. Къ зимѣ табуны всегда приходили сами домой, и свободное пользование „Конской волей“, несомнѣнно, являлось наградой за такое благоразуміе.

Конская воля! Для насъ подъ этимъ именемъ таинственно скрывалось все, что мы любили и къ чему стремились всѣ наши помыслы. Тамъ были наши дома, наша родина; тѣ люди, которыхъ мы любили; дѣла и занятія, отъ которыхъ насъ оторвали для вынужденной праздности. Тамъ было и другое небо—голубое и теплое, и другая земля—распаханная и плодородная. Вся Россія съ ея, казалось, воскресавшею жизнью, вся Европа съ ея старою культурой и молодою кипучею дѣйствительностью,—все это было „Конскою волей“, и было намъ недоступно. Князь Нюша упорно стоялъ на томъ, что территоріей, на которой намъ дозволено свободно циркулировать, является „телячій выпасъ“... И мы циркулировали и вытаптывали скудную траву — телячью пищу—на берегу ручья и на главной улицѣ, на одномъ концѣ которой сидѣлъ въ своемъ окошкѣ князь въ халатѣ и ермолкѣ, а на другомъ въ караулкѣ городской Басовъ плелъ безконечныя сѣти и мережи.

Вотъ гдѣ можно было заболѣть сплиномъ. Въ городѣ — ни души. Все мужское населеніе — цѣлое лѣто въ морѣ. Всѣ бабы на покосѣ и въ Конской волѣ. Каждое утро двигаются онѣ туда табунками съ туесами и лукошками за ягодами и за „губами“, т. е. грибами. На свой выгонъ идутъ коровы, и въ городѣ остаются дѣти и

телята, Ньюша и Басовъ съ товарищами, и еще—мы. *

Немногимъ изъ насъ было 30 лѣтъ. Большинство были юноши. А Степа пріѣхалъ къ намъ 15 лѣтнимъ мальчикомъ. Ему было всего 14, когда какой-то мѣстный Ньюша исходатайствовалъ его переселеніе къ Ледовитому океану, въ виду принадлежности Степы къ вредной и опасной семьѣ и ранней испорченности.

— Ну, вы какъ хотите! А я пойду за морошкой,—заявлялъ Степа.—Топчитесь съ телятами, если угодно, мнѣ надоѣло.

— Не бунтуй, Степа! Ты самъ въ телячьемъ возрастѣ и отъ своей компаніи не отбивайся! — отвѣчаемъ мы ему. Тѣмъ не менѣе беремъ и сами корзинки и идемъ всѣ вмѣстѣ на Конскую волю за ягодами.

Но у первой же линіи заборовъ, въ воротахъ, широко разставивъ и руки и ноги стоитъ уже Басовъ и издали кричитъ:

— Не пуцаю. Господа, не пуцаю. Нѣтъ такого закона вамъ, чтобъ ходить скрозъ ворота.

— Ну, и откуда ты знаешь, какіе есть законы и какихъ нѣтъ, — говоришь ему иногда, — старый человѣкъ, а болтаешь пустяки.

— Какъ закона не знаю, — вскипаетъ онъ, — я законъ всегда знаю, потому что мнѣ, что исправникъ скажетъ, то мнѣ и законъ!

— Наука, Басовъ, не признаетъ такого опредѣленія закона. Согласно наукѣ, голубчикъ, — это административный произволъ, и только. А.

ты—слѣпое орудіе произвола. Убирайся въ караулку къ своимъ сѣтямъ...

Что ему дѣлать, старому Басову,—когда насъ челевѣкъ 15, а онъ одинъ?

— Ваша воля,—говорилъ онъ сокрушенно,— а я доложу Нюшѣ... Мало имъ города.... Наука, тоже. Вотъ за эту науку васъ тутъ и держатъ...

Мы идемъ въ одну сторону; Басовъ ковыляетъ въ другую — докладывать Нюшѣ, и мы долго слышимъ его ворчанье за спиной.

Затѣмъ начинается охота. Мы изображаемъ дичь; квартальный и три-четыре челевѣка городскихъ, иногда верхами,—охотники. Но мы разбрелись въ разныя стороны по тундрѣ, или по лѣсу, и ловить насъ не легко. Неизвѣстно, что и дѣлать, поймавъ: не вязать же. Поэтому дѣло кончается тѣмъ, что подъ вечеръ мы всѣ сходимся самі къ городу, при чемъ непойманные несутъ корзины съ морошкой или смородиной сами, а пойманнымъ несутъ поймавшие ихъ городовые. У городского забора поджидаетъ всѣхъ Басовъ и сухо-официальнымъ тономъ сообщаетъ:

— Въ канцелярію ступайте, Нюша приказалъ. Погуляли? — добавляетъ онъ уже неофициально добродушнымъ тономъ.

Но въ канцелярію мы не идемъ. Зачѣмъ? Мы устали, а протоколы составятъ и безъ насъ. И составляли ихъ усердно. Первый—о незаконной отлучкѣ изъ города; второй—о неисполненіи законнаго требованія начальства о явкѣ въ полицію; третій—о нанесеніи Степаномъ Франжолі оскорбленія городовому Иванову при исполненіи

имъ служебныхъ обязанностей. И всѣ они отправлялись съ первой отходящей почтой въ Архангельскъ, въ уголовную палату для сужденія.

— Ты что, Степа, тамъ набѣдокурилъ?

— Нашелъ меня Ивановъ и зоветъ домой. А смородины просто усыпаны кусты. Я ему говорю: собирай лучше ягоды,—онъ и началъ. Самъ собираетъ, а все пристаегъ черезъ каждыя 10 минутъ: идите въ городъ, будетъ ужъ, идите, да идите. Я и говорю ему: если хочешь приставать, такъ убирайся лучше отъ меня къ чорту... Только и всего. Они это и записали, что я послалъ его къ чорту...

Вспоминая, я думаю, что въ маленькой дозѣ всѣ эти маленькія войны украшали нашу жизнь. Но и комариные укусы могутъ убить человѣка. И временами мы, чувствуя себя въ капканѣ, въ сѣти изъ предписаній и циркуляровъ, теряли душевное равновѣсіе и приходили въ нервы. Тогда столкновенія учащались и обострялись, и собиралась гроза. Нюша тоже выходилъ изъ себя и принимался за мѣры.

Въ нашихъ рукахъ было одно средство: брать Конскую волю безъ спросу, съ бою. Въ рукахъ у Нюши было тоже только одно средство: предписанія и протоколы. И вотъ, онъ начиналъ предписывать.

Утромъ приходитъ Басовъ и суетъ бумажку.

— Распишитесь.

Читаю: -скій исправникъ, князь и т. д. предписываетъ такимъ-то вмѣстѣ на квартирѣ болѣе чѣмъ подвое не жить; или: толпами по улицамъ

не ходить; или: недозволенныхъ пѣсенъ не пѣть и т. д.

Расписываешься: Незаконное требованіе читалки, и исполнять его не буду. Такой-то. Затѣмъ протоколъ. Не правда ли, что жизнь, единственнымъ содержаніемъ которой, кромѣ книгъ, являются подобныя препирательства съ начальствомъ, становится трудно переносимой?

Поговорили, и рѣшили итти объясняться. Къ этому средству прибѣгали рѣдко, но продѣлывали его съ церемоніаломъ и по разъ установленной программѣ: впередъ посылали къ Нюшѣ депутата. Депутатъ называлъ Нюшу „сіятельствомъ“, — не господинъ исправникъ, а „ваше сіятельство“. Этого было достаточно, что-бы старикъ таялъ.

— Я радъ исполнить всякую вашу просьбу. — Придите и скажите: ваше сіятельство, пожалуйста, отпустите по морошку.. А что я вижу отъ васъ? Грубость, непослушаніе... Нѣтъ, такъ нельзя, и т. д. и т. д.

Когда депутатъ добивался свиданія съ его сіятельствомъ для всѣхъ, мы приходили толпой и становились мрачнымъ полукругомъ. Ораторомъ являлся всегда Иванъ Ивановичъ Зеледѣевъ, самый старый и миролюбивый членъ нашей семьи. Разговоръ велся въ такомъ родѣ: сначала заявлялось наше желаніе, и слѣдовалъ отказъ, со ссылкой на законъ, циркуляры и наше дурное поведеніе.

— Помилуйте, чѣмъ же не нравится вамъ наше поведеніе?

Князь начиналъ высчитывать наши грѣхи.

— Богъ съ вами! Все это вамъ наклеветали. Мало ли клеветаютъ люди? Вотъ намъ, напри-мѣръ, сообщили изъ Усть - Цыльмы, что оттуда послѣ послѣдняго набора увезли два воза пес-цовъ и лисицъ. И, знаете, не только называютъ кто увезъ, но и съ кого получилъ и за что. Все точно и вполне, якобы, вѣрно. Вотъ знаете, если бы въ газеты!

Это былъ всегда критическій моментъ бесѣды. Становилось очевиднымъ, что худой миръ лучше доброй ссоры, и послѣ нѣкоторыхъ перегово-ровъ, условій и оговорокъ миръ заключался, иногда на мѣсяцъ—другой.

Но на этотъ разъ дѣло не выгорѣло. Былъ коллективный разговоръ съ княземъ, получены были всѣ обѣщанія, но черезъ недѣли три наши ораторъ и депутатъ были неожиданно увезены въ Якутскъ.

— А, князь, вы вотъ какъ? Ладно!

Вы видѣли, что, понимая подъ „Конской во-лей“, въ теоріи, весь міръ и всю полноту человѣ-ческой свободы, мы практически отождествляли ее съ правомъ собирать грибы и морошку, ко-сить мѣщанамъ сѣно и ловить рыбу. Но послѣ предательства (какъ мы тогда это называли) кня-зя рѣшено было трактовать „Конскую волю“ распространительно. Возможность явилась скоро. Наши друзья намъ рассказали, что у лѣсопиль-наго завода въ устьѣ рѣки грузится лѣсомъ англійскій пароходъ. Нашъ товарищъ Нагель зналъ по-англійски.

— Пиши письмо!

Я не могу воспроизвести его теперь по памяти, но знаю, что оно было краснорѣчиво. Мы вложили въ него всю лесть „прекрасной свободной Англіи, свято чтущей законы и законность“, — на какую были способны; мы очернили, насколько могли, отечественные порядки, благодаря которымъ у насъ „отрываютъ отъ домашняго очага, семьи, правильнаго труда людей, не совершившихъ никакого преступленія, только за ихъ политическія мнѣнія“. Въ результатѣ мы просили капитана увезти двоихъ нашихъ товарищей до Норвегіи... И онъ увезъ...

Двоихъ другихъ черезъ недѣлю увезъ нашъ пріятель мѣщанинъ Масловъ, на мореходномъ баркасѣ.

Мы же, оставшіеся, составили петицію о правахъ съ перечисленіемъ всѣхъ прижимокъ, всѣхъ „незаконныхъ“ притѣсненій, и послали куда слѣдуетъ. Не думаю, чтобы юристы одобрили нашъ трудъ. Почва „законности“—скользкая почва для людей, поставленныхъ внѣ закона. Но въ нашей петиціи было, вѣроятно, нѣчто другое, способное дѣйствовать и убѣждать: полная рѣшимость слѣдовать доброму примѣру товарищей, взявшихъ себѣ „Конскую волю“. А въ то время, не знаю почему, очень строго смотрѣли за тѣмъ, чтобы люди дурного образа мыслей не оставляли самовольно отечества,—должно-быть, здѣсь говорила благородная стыдливость: пусть испорченные люди сидятъ дома, за печкой; зачѣмъ показывать

ихъ Европѣ? И взыскивали строго съ мѣстныхъ властей за недосмотръ.

Такимъ образомъ [на бѣднаго Ньюшу свалилось сразу много горя: побѣги, жалоба, статьи въ газетахъ, съ фактами, именами. Все это было взвѣшено на тѣхъ вѣсахъ, которые опредѣляютъ судьбы людей, и черезъ какой-нибудь мѣсяцъ князь Ньюша покинулъ ту квартиру, изъ окна которой такъ удобно было сторожить ворота. Ему предложено было подать въ отставку.

Намъ же объявили, что наше требованіе „Конской воли“ неосновательно и незаконно и удовлетворено быть не можетъ. Въ случаѣ же мы не подчинимся этому вердикту, то понесемъ суровую кару. Но за то коровій выгонъ былъ отданъ въ полное наше распоряженіе. Циркулируйте въ немъ невозбранно! Собирайте ягоды, ставьте силки для птицъ и сѣти для рыбы. Косите сѣно,—но въ предѣлахъ выгона для коровъ!

Вамъ кажется, что это не очень много. Но намъ послѣ телячьяго выпаса представлялось, что мы завоевали полміра. Конечно, были и среди насъ недовольные: людямъ, вѣдь, всегда и всего мало. Мало было бы и Конской воли, если бы ее дали. — Поэтому не надо придавать большого значенія людямъ съ несбыточными желаніями,—людямъ, считающимъ и коровій выгонъ слишкомъ узкой ареной подвиговъ. Довольно было того, что большинство ликовало.

Ну, а князь Ньюша? Онъ былъ потрясенъ и, казалось, раздавленъ свалившейся бѣдой. Постарѣлъ, опустилсѣ еще болѣе, и одинъ глазъ на-

чалъ плакать; при встрѣчѣ съ нами онъ отворачивался и быстро уходилъ. Но время шло, и острота удара смягчалась, страсти успокаивались, и разумъ вступалъ въ свои права.

И вотъ, на слѣдующее лѣто можно было видѣть слѣдующую картину: солнце еще не показывалось надъ горизонтомъ, и только розовые отсвѣты бѣгутъ по облакамъ и безконечной тундрѣ, а старшій городово́й Басовъ уже стучить въ оконце кого-либо изъ своихъ бывшихъ враговъ.

— Выходите скорѣе, время уходитъ.

Весь онъ обвѣшанъ сѣтями и переметами, бурачками и туесками.

— А не захватить ли намъ Степу? Онъ просилъ.

И вотъ идутъ недавніе враги на завоеванный коровій выгонъ, и мирно бесѣдуютъ. Говорить больше Басовъ: онъ знатокъ рыбнаго дѣла и пламенный любитель.

— Донныя мы поставимъ на Нерехтѣ,—налима возьмемъ. А сѣти поставимъ на Мезени, на пескахъ, что повыше Старой протоки...

— Слушайте, Басовъ, вѣдь это — за поскотиной.

— Что жъ, что за поскотиной? А мы ее разгородимъ, да и опять загородимъ. Главное дѣло, что тамъ самый сему́жій ловъ. Ужъ я мѣста знаю.

— Соблазнитель вы, Басовъ, и либераль, — должны охранять государственнѣйшій порядокъ, а подбиваете насъ нарушать законы.

Но наша побѣда, видимо, отразилась и на пониманіи Басовымъ законности. Это называется

гетерогоніей цѣлей: стремишься къ одному, а достигаешь, между прочимъ, и совсѣмъ другого. Прежде мы читали Басову курсъ государственнаго права, а онъ ходилъ жаловаться князю. Теперь никто не думаетъ просвѣщать стараго рыболова, а онъ ворчитъ:

— Если бъ не загородивши пройти, — было бы, вѣрно, противъ закона. Пойдутъ коровы на Конскую волю — когда ихъ сыщешь? А намъ можно, — мы за рыбой.

— Ахъ, Басовъ, надо будетъ сходить доложить о васъ Нюшѣ. Онъ на васъ напишетъ.

По коричневому лицу рыболова бѣгутъ отъ глазъ во всѣ стороны морщины, и на нихъ, и въ сѣрыхъ лукавыхъ глазахъ дрожатъ и смѣются отблески взошедшаго солнца.

— Напишетъ! Ёнъ теперь книжку все пишетъ, для народу. Называется „О вредѣ пьянства“.

Дѣйствительно, князь Нюша сталъ литераторомъ. Отставка направила и его умъ къ мирнымъ и благороднымъ трудамъ.

Таково было третье благое послѣдствіе борьбы за Конскую волю.

Правда, идиллія продолжалась недолго. Время шло, и принесло новыя войны. Что жъ, въ добрый часъ, — если онѣ откроютъ для людей и поскотину.

Въ защиту исправниковъ.

По газетнымъ свѣдѣніямъ, березовскій исправникъ, въ наказаніе за побѣги ссыльныхъ, уволенъ отъ должности. Это очень жестоко и очень несправедливо. Говорятъ, — исправникъ не досмотрѣлъ. Говорятъ потому, что обвинять, вообще, легко; а каково „досмотрѣть“? Я увѣренъ, что если бы исправникомъ въ Березовѣ, сдѣлать кого-нибудь изъ министровъ или губернаторовъ, ссыльные бѣжали-бы еще легче, чѣмъ изъ подъ надзора того исправника изъ полицейскихъ приказныхъ, который теперь оплакиваетъ свою судьбу,—судьбу „жертвы революціи“ *sui generis*.

Вы думаете, быть можетъ, что мое утвержденіе голословно? Но вѣдь я много лѣтъ провелъ подъ надзоромъ полиціи въ самыхъ гиблыхъ мѣстахъ сѣвера Россіи и Сибири; я претерпѣлъ штукъ 20 исправниковъ; въ свое время достаточно воевалъ съ ними и, говоря откровенно, терпѣть не могъ эту породу людей. Я, такимъ образомъ, въ нѣкоторомъ родѣ „экспертъ“. Думаю поэтому, что моя защита исправниковъ свободна отъ упрека въ пристрастіи, во-первыхъ; основана на дѣйствительномъ знакомствѣ съ дѣломъ, во-вторыхъ.

Но если всего этого мало, — попытаюсь, хотя въ общихъ чертахъ, возсоздать ту обстановку, въ которой совершаются побѣги и уловленія. Затѣмъ судите сами.

Жизнь въ глухихъ сѣверныхъ городишкахъ, мало населенныхъ и бѣдныхъ, течетъ убійственно скучно и монотонно. Скучно и монотонно для невольныхъ обитателей города — надзирающей полиціи и поднадзорныхъ ссыльныхъ.

Обыватели, — тѣ заняты „борьбой съ природой“. Въ Кемі, Онегѣ, Мезени, Березовѣ, Обдорскѣ и т. д., и т. д. мужчины всю весну и лѣто въ морѣ, зимой — въ извозѣ. Въ Яренскѣ, Сольвычегодскѣ — въ лѣсу, на промыслахъ.

Поэтому чиновникъ, а въ томъ числѣ и исправникъ, всегда только скучающій бездѣльникъ, убивающій время за картами и бутылкой. Народъ же — смѣлый, закаленный, свободолюбивый; часто раскольникъ, не мало терпѣвшій еще недавно отъ „гонителей-Иродовъ“; часто дикарь-кочевникъ.

Можно съ увѣренностью сказать, что политическій ссыльный, страдающій „за свою вѣру“, легче находитъ доступъ къ уму и сердцу этого свободного и смѣлаго народа, чѣмъ господинъ исправникъ съ присными. Тѣмъ болѣе, что вообще-то у господъ исправниковъ, отбывающихъ службу въ гиблыхъ мѣстахъ, наблюдается стремленіе отыскать дорогу къ обывательскому карману, а не къ уму и сердцу. Естественно, что, заглянувъ разъ и другой въ чужой карманъ онъ находитъ дверь въ сердце запертой на-ключъ.

Итакъ, провинціальному исправнику и тому небольшому полицейскому механизму, который находится въ его распоряженіи, приходится держать „подъ надзоромъ“ и вести тихую, но неустанную борьбу, во-первыхъ, съ колоніей ссыльныхъ, коллективный разумъ, — и недурной разумъ, — которой усиленно работаетъ всегда надъ однимъ вопросомъ: — бѣжать! А во-вторыхъ, съ „общественнымъ сочувствіемъ“ къ крамольникамъ.

Какія же средства имѣются у полиціи? Во-первыхъ, внѣшніе караулы; во-вторыхъ, надзиратели, посѣщающіе квартиры; въ-третьихъ тайные агенты; въ-четвертыхъ, надзоръ квартирохозяевъ; въ-пятыхъ, — перлюстрація писемъ.

Всѣ эти средства примѣнялись всегда и всюду, и, можетъ быть, они и были бы цѣлесообразны, если бы...

Вотъ, напримѣръ, я жилъ въ Сольвычегодскѣ. И былъ тамъ исправникъ строгій и дошлый, г. Кульчицкій, бывший офицеръ воспитатель кадетскаго корпуса, за подлый, противоестественный грѣхъ лишенный правъ состоянія и сосланный на поселеніе; потомъ уже въ качествѣ полицейскаго сыщика онъ открылъ въ Устюгѣ, кажется, фабрику фальшивой монеты; прощенный, онъ дослужился, наконецъ, до исправничьяго мѣста.

Насъ, ссыльныхъ, было шесть человекъ, жили мы вмѣстѣ въ одномъ домѣ, у обоихъ выходовъ котораго стояли денно и ночью двое городскихъ, двое обнищавшихъ сольвычегодскихъ мѣ-

щанъ, одѣтыхъ въ полицейскіе шинели и старыя тулупы.

Въ мятель и вьюгу, въ морозъ и дождь, въ долгую сѣверную зимнюю ночь—стояли они, чередуясь съ двумя другими, такими же страсто-терпцами, и караулили насъ, ласковыхъ, славныхъ людей, которые охотно поили ихъ чаемъ, иногда водочкой, давали имъ книжки, никогда не ругали ихъ. Естественно, что въ результатъ долгаго знакомства и обмѣны услугъ они и дрова намъ рубили, и воду возили; ни о какомъ „надзорѣ“ не могло быть и рѣчи.

— Ужъ мы, А. С., седни калавурить васъ не будемъ. Нонѣ Синичкинъ дежурный,—повѣрять не будетъ. Счастливо оставаться.

— Морозы! — говоритъ другой разъ нашъ стражъ.—Беда, какой морозъ. Сту-ужа, а уйтить нельзя. Бизпремѣнно с. сынъ повѣрять будетъ. Такой дошлый, — пропасти не него нѣтъ! Дозвольте на куфнѣ погрѣться.

Поэтому, конечно, когда пять моихъ товарищей вздумали „бѣжать“,—они спокойно уѣхали, а двѣ смѣны караульныхъ, всего 4 человѣка, тринадцать дней караулили меня одного, и замѣтили „пропажу“ только тогда, когда я самъ имъ сказалъ.

Ихъ, конечно, уволили; при этомъ очень много ругали, очень грозили. Я отдалъ имъ, въ возмѣщеніе убытковъ, кажется, сорокъ рублей, и они были очень довольны.

— Теперя къ лѣту. Намъ ничего. Еще даже лучше. Чѣмъ невѣдомо что калавурить, мы ры-

бой займемся... А какъ насчетъ Андрей Васи-
лича? Благополучно?

— Благополучно.

— Ну, и славу Богу...

Надзиратели, такъ называемые „духи“, ходятъ съ книжкой, въ которой каждый ссыльный дол-
женъ собственноручно расписаться, собственно-
лично показавшись „духу“. Такъ—по прави-
ламъ.

Но не было ни одного города, гдѣ бы когда-
либо это правило соблюдалось больше, скажемъ,
мѣсяца послѣ какого-нибудь инцидента.

Затѣмъ вступаютъ въ права обычный поряд-
докъ: записываются за нѣсколько дней впередъ
или назадъ, записываются за себя и за товари-
щей, „въ лицо“ духу не показываются. Такой
порядокъ опирается иногда на халатность „духа“,
иногда на физическую невозможность заставить
всѣхъ дома, иногда на „трешницу“, иногда на
угрозу спустить съ лѣстницы. Бумажный конт-
роль—бумажнымъ и остается.

Еще труднѣе организовать внутренній шпио-
нажъ. Одинъ веселый опытъ я, однако, знаю.
Дѣло было въ Мезени. Бѣжали двое товари-
щей—Кацъ и Преферанскій, бѣжали въ Норве-
гію на рыболовной лодкѣ, отвозившей грузъ ры-
бы въ Варде. Послѣ того начались строгости и
полицейская мысль пошла на хитрости.

Жилъ тогда въ Мезени въ ссылкѣ сельскій
адвокатъ, подпольный кляузникъ, высланный въ
качествѣ „политическаго“ потому, что задрался
съ полиціей. Въ ссылкѣ онъ отдавалъ стирать

бѣлье одной гулящей бабенкѣ, а затѣмъ взялъ ее къ себѣ „вмѣсто хозяйки“.

Аксиньѣ понравилась такая перемѣна социальнаго положенія. Всегда сыта, въ своемъ дому—хозяйка, хозяинъ,—„политическій“, хотя и podleichego gatunki, но все же политическій. Кто же она? Конечно, и она политическая. Это тотъ самый ходъ мыслей, который супругу чиновника, дослужившагося до губернатора, дѣлаетъ губернаторшей, а супругу намѣстника—намѣстницей.

Въ качествѣ супруги, хотя и морганатической,—но кто интересуется этими тонкостями въ гиблыхъ мѣстахъ?—Аксинья ходила ежемѣсячно въ полицію и получала „жалованіе“—тѣ 6 рублей, которые причитались ей мужу. Въ своихъ хозяйственныхъ расчетахъ она привыкла рассчитывать на эти 6 рублей, привыкла распоряжаться ими, какъ своей собственностью. Такъ шло и годъ, и два, пока на политическомъ горизонтѣ не возшла звѣзда Лорисъ-Меликова.

Для Аксиньи это было событіемъ величайшей важности и причиной большихъ неприяностей. Проникнутый идеями широкихъ политическихъ реформъ, Лорисъ-Меликовъ возвратилъ на родину Аксиньиного „хозяина“ и ввергнулъ Аксинью въ первобытное состояніе гулящей прачки. Такъ превратно отражаются на судьбѣ управляемыхъ благороднѣйшіе порывы управляющихъ.

Аксинья ужасно много ревѣла. Поносила политику, въ лицѣ покинувшаго ее „злодѣя“ и давшаго ему свободу министра—тоже, по мен-

шей мѣрѣ, негодяя. Когда же настало первое число, она отправилась въ полицію, по старому многолѣтнему обычаю, за „жалованіемъ“. Тамъ произошелъ слѣдующій разговоръ.

— Ты чего?

— А за жалованіемъ.

— За какимъ?

— А за своимъ, за шестью рублями...

— Иванъ Ивановичъ, какіе ей шесть рублей?

— А это вѣрно Селезневскіе. Она за Селезнева всегда получала. Да онъ вѣдь выѣхалъ...

— Аа! Ступай, ступай, матушка...

— Куда ступай! Вы деньги пожалуйста, а ужъ тогда гоните.

— Какія деньги?

— Да мои, что я всегда получала...

— Да ты за кого получала? Если бъ ты, чертова перечница, была сама политическая, если бы ты совершила политическое преступленіе—ну, другое дѣло... Ступай!

— А кто же я, какъ не политическая? Сколько годовъ жила... Вотъ сказали! Кто жъ и политическая, когда не я? Подавайте мои деньги!

— Захаровъ! Гони ее въ шею.

Но это было не такъ то легко. Аксиныя уцѣпилась за красное сукно. Захаровъ тащилъ Аксиныю, Аксиныя тащила сукно, и колебала зеркало, и всѣ законы, написанные на немъ, при этомъ плакала и скверно ругалась, поносила властей и Бога.

Исправникомъ былъ тогда кн. Крапоткинъ,

человѣкъ деликатнаго воспитанія. Онъ, зажавъ уши, кричалъ:

— Уберите эту дрянъ! Уберите ее скорѣе!

Захаровъ лѣзъ изъ кожи, и общими съ Аксиньей усиліями стащилъ зеркало со стола. Оно съ грохотомъ покатилося, ломая золоченныя украшенія и теряя стекла. Прибѣжали писаря и начали поднимать осколки и бумаги. А Аксинья тѣмъ временемъ вырвалась изъ рукъ Захарова, и разъяренная борьбой и охваченная инстинктомъ рузрушенія, а можетъ быть, и почувствовавшая, что она творитъ нѣчто „политическое“, схватила пепельницу и пустила ее въ „портретъ“, схватила чернильницу—и въ окно. „Блестая очима“, вся расхлюстанная и растрепанная, стояла она „на развалинахъ Карфагена“ и вопила:

— Вотъ вамъ и не политическая! Вотъ вамъ и не политическая!

Конечно, хотя Мезень и очень далеко, но законы тамъ общерусскіе, поэтому Аксинью должны были отвести въ каталажку, переломать тамъ два или три ребра, для науки, составить протоколъ, отдать подъ судъ, сдѣлать попытку возмѣстить казенные убытки. Но, какъ я сказалъ, передъ тѣмъ бѣжали Кацъ и Преферанскій, и это дало ходу полицейской мысли особенный оборотъ.

Помощникомъ исправника служилъ тогда Ничипоренко, хохоль. Это происхожденіе въ его глазахъ служило ручательствомъ необыкновенной проницательности его ума. Что ему ни говори, бывало, о чемъ ни проси,—онъ хитро под-

мигиваетъ заплывшимъ сивымъ глазомъ и ворчитъ:

— О це такъ! такъ! Ну, москаля, мабуть, обманили бы. Та я не москаль, а хохоль, было бы вамъ извѣстно.

И вотъ въ пронзительнѣйшемъ умѣ этого политика созрѣлъ такой планъ. Государственное преступленіе, совершенное этой глупой бабой, налицо. Дать ему ходъ и бабѣ запугать. Каторгой, чѣмъ угодно. Обѣщать снисхожденіе, если будетъ доносить все, что дѣлается и замышляется у политическихъ. А чтобы добродѣтель не оставалась безъ награды, и чтобы пріохотить Аксинью, — дать ей ея шесть рублей пособія. Благо, совершенное политическое преступленіе одновременно давало основаніе взять ее подъ надзоръ полиціи, и съ другой стороны, вводило ее въ кругъ политическихъ поднадзорныхъ, въ качествѣ равноправнаго члена.

Спустившись въ каталажку, Ничипоренко привелъ планъ въ исполненіе. Пугалъ бабѣ, какъ только умѣлъ. Обѣщалъ ей затѣмъ всѣ „небесные мигдалы“, если она будетъ стараться. И, наконецъ, возвелъ ее въ званіе, дающее право на пособіе.

Баба немножко сначала перетрусилась. Все, что нужно, обѣщала. И получивъ свои шесть рублей, успокоилась и отправилась къ намъ!

— Ишь, погань какая, — говорила она, сидя у насъ, на кухнѣ, — хотѣли жалованіе мое въ свой карманъ... Ну, да я не такая! Я имъ всю карцелярію разворотила, — выдали! Въ политическіе

пописали. Ироды! Бѣлье стирать есть, что ли? Кода есть,—то давайте!

Мы очень смѣялись. И, конечно, распрашивали, что, да какъ. Но Аксинья говорила что-то мало понятное.

— Сволокъ меня Захаровъ въ каталажку; за косу сволокъ... Ну, погодижъ ты! Я тебѣ, лысому, такъ этого дѣла не оставлю! Ну, потомъ бумагу читали. А тамъ толстопузый этотъ пришелъ. Пужать зачалъ. Я тебя, говоритъ, въ кандалы, у каторгу. А потомъ, говоритъ, будемъ тебѣ способіе выдавать, а ты намъ все докладай, что у политическихъ будетъ. А, ну ихъ! Всего не переслушаешь.

— А пособіе, дѣйствительно, выдали?

— А то какъ-же? Пущай бы не выдали...

Итакъ, Аксинья сдѣлалась форменной поднадзорной, получала изъ мѣсяца въ мѣсяцъ свое жалованье за шпионажъ и мыла намъ грязное бѣлье. Что она докладывала Ничипоренко — не знаю. Знаю только, что когда одному товарищу пришла охота убраться изъ Мезени, Аксинья напекла и наварила ему, выстирала бѣлье, и нашъ другъ преспокойно уѣхалъ въ устье Мезени на норвежскій корабль. Когда начались обыски и Ничипоренко явился къ норвежцамъ на корабль, нашего друга закатали въ парусъ и подняли на рею, Ничипоренко дали бутылку рому, и когда онъ потерялъ всѣ пять чувствъ, свезли его на лодкѣ на берегъ; тѣмъ дѣло и кончилось.

Надзоръ квартирохозяевъ! Если бы всѣ квар-

тирохозяева были прирожденными полиціантами! Но вѣдь этого нѣтъ.

Я помню, я жилъ въ Маріинскѣ у сапожника, философа и мудреца.

— Проходу не дають,—говорить онъ разъ, заходя ко мнѣ въ комнату, — все въ полицію зовутъ, велятъ за вами смотрѣть, чтобы не сбѣжали. Да что, на воздушномъ шарѣ ему улетѣть, что ли? — спрашиваю. Ну, на воздушномъ или безъ воздушнаго, а ты смотри, — отвѣчаютъ. — Надоѣли, право.

Мысль была подана. Когда черезъ нѣсколько дней ко мнѣ появился околочный и, конфузливо потирая руки, сталъ спрашивать, какъ я поживаю, и что дѣлаю,—я, стоя за столярнымъ верстакомъ, отвѣтилъ ему: да, вотъ, мастерю воздушный шаръ.

— Какъ такъ воздушный шаръ? Зачѣмъ?

Ну, я объяснилъ ему все. Показалъ кусокъ канасу и растолковалъ, что его надо будетъ пропитать особымъ составомъ, который уже выписанъ. Потомъ въ имѣвшемся у меня альбомѣ вѣтряныхъ двигателей показалъ ему чертежи крыльевъ и всей оснастки шара. А затѣмъ рассказалъ, что на воздушномъ шарѣ можно при современномъ состояніи науки не только самому улетѣть, но и исправника, на примѣръ, увезти.

Я баловался, а околочный растерянно смотрѣлъ въ непонятные чертежи и слушалъ непонятные рассказы о водородѣ и т. д. и не зналъ, чему вѣрить и чему нѣтъ.

Тѣмъ не менѣе, какъ это ни невѣроятно, къ

моей квартирѣ приставили полицейскій постъ, а хозяина обязали подпиской немедленно извѣстить полицію, когда воздушный шаръ мой будетъ гововъ.

И пока, такимъ образомъ, усиленно слѣдили за мной, изъ города преспокойно въ тарантасѣ уѣхалъ политическій ссыльный Лаговскій, тотъ самый, который потомъ десять лѣтъ административно сидѣлъ въ Шлиссельбургѣ.

— Дураки!—говорю я моему хозяину.

А онъ хохочетъ и отвѣчаетъ:

— А я, признаться, имъ докладывалъ про вашъ шаръ. Надуваетъ, говорю имъ, каждый день надуваетъ!..

Вы видите, что надзоръ за политическими — не легкое дѣло. Почти невозможное тамъ, гдѣ ихъ окружаетъ атмосфера общественнаго сочувствія. А теперь, когда ссылаютъ тысячи и десятки тысячъ, общественное и народное сочувствіе не можетъ не быть на сторонѣ политическихъ ссыльныхъ.

Чѣмъ же виноваты исправники? Что могутъ они подѣлать?

Если вы хотите, чтобы не было побѣговъ, — отдайте всѣхъ русскихъ гражданъ подъ надзоръ полиціи такъ, чтобы, гдѣ бы человѣкъ ни жилъ, онъ все равно былъ бы какъ бы въ ссылкѣ. Другого средства нѣтъ.

Въ странѣ далекой.

Добрые друзья часто упрекають меня за отсутствіе органическаго, инстинктивнаго уваженія къ власти. Они говорятъ—въ упрекъ мнѣ, — что это чувство неотъемлемо отъ западно-европейца; говорятъ, что склонность уважать власть возрастаетъ въ гражданахъ параллельно съ ростомъ „гражданственности“ и политической культуры. Отсутствіе-же этого чувства свидѣтельствуеетъ о состояніи, близкомъ къ варварству.

Когда ко мнѣ обращаются съ такой тяжело-вѣсной аргументаціей, я, обыкновенно, робко и сконфуженно склоняю голову. Но про себя думаю: а развѣ я виноватъ, что около меня не было „гражданственности“, и что во мнѣ не выросло инстинктивное уваженіе къ власти?

Все зависитъ отъ обстановки. Окидывая мысленнымъ окомъ прожитую жизнь, и вспоминая специально тѣ семнадцать лѣтъ, которыя я провелъ во власти различныхъ уѣздныхъ и улусныхъ правительствъ, воспитывавшихъ мои политическія чувства; — я удивляюсь не тому, чему удивляются мои друзья, а тому, какъ я не сдѣлался анархистомъ.

Я жилъ въ Вельскѣ, въ Сольвычегодскѣ, въ Чаусахъ, жилъ въ Мезени, въ Ишимѣ и Маріинскѣ, жилъ въ Якутскѣ и въ Якутскихъ улусахъ,

жилъ въ Енисейскѣ и въ Верхоянскѣ, въ томъ Верхоянскѣ, въ которомъ постоянно обитаетъ полюсъ холода, гдѣ 5 мѣсяцевъ подъ рядъ термометръ не поднимается выше—60° Цельзія, гдѣ пудъ гнилой муки стоитъ 5 р. 50 к.

Въ каждой изъ этихъ трущобъ надо мной стояла власть въ лицѣ совѣтниковъ, исправниковъ и ихъ присныхъ, власть, облеченная по отношенію ко мнѣ генераль-губернаторскими правами. И, Боже мой, какихъ только этихъ генераль-губернаторовъ я ни видалъ!.. Старыхъ и молодыхъ, глупыхъ и умныхъ, плаксивыхъ и звѣрски жестокихъ, вороватыхъ и плутоватыхъ, либеральныхъ и клерикальныхъ, и даже безумныхъ! И всѣхъ я ихъ претерпѣлъ, не замерзъ на полюсѣ холода, не палъ отъ руки моихъ правительствъ; а вернувшись сюда, въ благословенную Россію, не только оказался способнымъ наслаждаться мирными радостями культурной жизни, но даже съ чувствомъ почти родственнаго расположенія вспоминаю о моихъ захолустныхъ правителяхъ!

Съ родственнымъ расположеніемъ, но, правда, безъ инстинктивнаго уваженія.

Однако, можно ли меня за это упрекать? Чтобы разсѣять сомнѣнія, расскажу объ одномъ изъ сихъ громовержцевъ.

Это былъ очень глухой и очень отдаленный городъ, населенный обьинородившимися казаками и не обрусѣвшими инородцами. Невѣжественный и нищій, безграмотный и голодный.

Настоящая Россія!

Жилъ онъ подъ властью губернатора, который, какъ пушкинскій царь-Никита, „не творилъ добра, ни зла,“ и потому „земля его цвѣла“ плѣсенью, которую не онъ посѣялъ, но которой зато онъ и не тревожилъ. Тревожили ее мы, невольные поселенцы, приносившіе на далекій Востокъ вкусы, навыки и привычки культурнаго Запада.

Иностранцы, туго и недовѣрчиво, но поддавались нѣкоторому общему вліянію пришельцевъ. Поколѣніе этихъ послѣднихъ смѣнялось одно за другимъ, но грамота, которую они сѣяли, книга и коса, хлѣбныя зерна и огородныя сѣмена, которыя они выписывали — оставались. И можно было жить.

Можно было жить, пока не пріѣхалъ къ намъ вице-губернаторъ, — новый вице-гувернаторъ, маленькій, черненькій и юркій, съ болонкой и женой — бывшей танцовщицей, черезъ которую онъ и попалъ въ люди.

Прежде чѣмъ стать „персоной“, онъ былъ чиновникомъ департамента полиціи, сначала по внутреннему, а потомъ по иностранному сыску, и, вѣроятно, такъ и положилъ бы животъ на этой почетной должности, если-бы кому-то не понадобилось выдать замужъ и сослать съ глазъ долой надоѣвшую балерину. Такъ и пріѣхали они оба къ намъ на край свѣта, она — съ болонкой, онъ съ губернаторскими штанами въ чемоданѣ. Это послѣднее обстоятельство стало вскорѣ извѣстно всему городу, ровно и то, что „ви-

це“ собирается посадить губернатора и укрѣпиться на его мѣстѣ.

— Для того и штаны бѣлые съ золотомъ привезъ.

И дѣйствительно. Вскорѣ же губернаторъ уѣхалъ въ отпускъ, а тотъ остался управлять губерніей.

И управлялъ! Положимъ, губернія пустынная, бездорожная, инородческая и нищая...

Но вѣдь все-таки и тамъ имѣются люди, и, чтобы управлять ими, надо имѣть хоть чуточку знаній...

А что могъ узнать человѣкъ, всю жизнь проходившій въ гороховомъ пальто? Въ лучшемъ случаѣ онъ зналъ, какъ подсматривать, какъ дѣлать обыски, какъ препровождать въ тюрьму, какъ стряпать доносы, фальшивые и настоящіе. Затѣмъ, если онъ „во дни ничтожества“ водилъ компанію съ околodочными,—то зналъ, какъ лупить по мордѣ, какъ вышибать душу и бить подъ девятое ребро. Въ этомъ была вся его наука. Онъ былъ, слѣдовательно, невѣжественъ. И, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ старателенъ и любилъ всѣмъ своимъ ссохлымъ сердцемъ эту свою науку,—тѣмъ не менѣе — развѣ могъ онъ управлять губерніей?

Конечно, нѣтъ.

Но жаждалъ онъ власти страстно. И судьба дала этой обезьянѣ власть на цѣлый годъ, на все время губернаторскаго отпуска, и удивленная окраина цѣлый годъ не знала, что ей дѣлать: хохотать ли, или плакать, или взять ве-

ревку и палку, отдуть, связать и запереть въ какую нибудь клѣть эту каррикатуру на чело-вѣка.

Какъ-бы ни былъ убогъ человѣкъ, онъ не можетъ жить безъ теорій и обобщеній. Нашъ помпадуръ создалъ тоже себѣ теорію, согласную со всѣмъ своимъ сыскнымъ прошлымъ и съ тѣмъ обстоятельствомъ, что окраина наша была ископи ссыльнымъ мѣстомъ, и населена инородцами.

Поэтому теорія гласила: здѣсь все неблаго-надѣжно, все развращено революціонерами и соціалистами.

— „Истребимъ!“ сказалъ себѣ нашъ времен-ный владыка, и началъ истреблять.

Наука истребленія проста и несложна и ста-ра, какъ міръ. Отъ всѣхъ остальныхъ наукъ она отличается тѣмъ, что способна только къ про-грессу техническому, прогрессу лишь въ пріе-махъ и способахъ. Методы совершенствуются, но содержаніе науки остается все то же. Она дѣлится на два отдѣла. Отдѣлъ первый: наука о выслѣживаніи; отдѣлъ второй: наука собственно объ истребленіи.

Для выслѣживанія нужны „слѣдопыты“. Кто читалъ рассказы Фенимора Купера, тотъ знаетъ, что особенно искусны въ слѣдопытствѣ дикари, дикари-охотники и воины. Тихо, какъ змѣи, и быстро, какъ лани, умѣютъ они ползать на брю-хѣ и подкарауливать врага, или дичь. Сове-ременные слѣдопыты, хотя и продолжаютъ пре-смыкаться, но дѣлаютъ это далеко не столь ис-

кусно, о чемъ и смотри ниже. Наука о „собственно истребленіи“, конечно, сдѣлала больше успѣховъ. Прежде дикарь, изловивъ врага, танцевалъ вокругъ него танецъ побѣдителя, издавалъ ужасающіе крики торжества, снималъ скальпъ и разбивалъ черепъ дубиной. Иногда ему при этомъ помогали его жена и дѣти.

Теперь это дѣло совершается и разнообразнѣе и торжественнѣе, и въ размѣрахъ, которымъ могъ-бы позавидовать любой „Кровавое Сердце“, или „Очковая змѣя“.

Вернемся, однако, къ нашему герою.

Прежде всего ему нужно было организовать „слѣдопытство“. И такъ какъ это соотвѣтствовало влеченію его души,—то онъ отдался дѣлу со всѣмъ увлеченіемъ артиста. Въ городѣ начали черезъ недѣлю говорить о томъ, что у „вицера“ засѣдаетъ какой-то комитетъ, что за всѣми „особами“, не пожелавшими принять участіе въ немъ, смотрятъ слѣдопыты, что подъ окнами дежурятъ казаки, переодѣтые въ „барнаулки“ и т. д.

Старый, полуслѣпой казакъ-надзиратель, удостоившійся разъ въ мѣсяцъ, не испарились ли мы изъ мѣстъ нашего прикрѣпленія, началъ бѣгать къ намъ каждый день и клясть предрежащія власти на чемъ свѣтъ стоитъ:

— Боже мой, Боже мой,—говорилъ онъ,—порядки-же пошли! Каждый день ходи, каждый день видай, подъ окномъ стой, куда ходятъ—примѣчай! Старъ я, говорю я имъ, не сила моя; рамы-то въ окнахъ тройныя, глухъ я, все равно не услышу... А они мнѣ што? Убирайся, гово-

рятъ, старая кочерга, молодого на твое мѣсто найдемъ...

Его, конечно, скоро смѣнили. Какіе-то юркіе люди въ барнаулкахъ и инородческихъ малахяхъ толклись подъ окнами, загороженными тройными рамами, или четырехвершковой льдиной; говорили, что и по „гостиннымъ“ шныряютъ „агенты“ высшаго разбора. Все это было глупо, все это изумляло безцѣльностью, но все это были лишь цвѣточки.

— Слыхали новость, спрашиваетъ меня мой знакомый, вицероя-то солдаты сегодня отколо-тили, мнѣ докторъ говорилъ: чуть живъ!

— Какъ такъ?

— Онъ теперь самъ ходитъ по ночамъ и смотритъ. Демонстрируетъ для мѣстныхъ людей западно-европейскіе приемы слѣдопытства. Костюмируется, гримируется и ищетъ. Вчера и пойдѣ онъ къ пороховымъ погребамъ наблюдать, все ли въ порядкѣ, и тверды-ли караульные въ присягѣ! Пошелъ и началъ соблазнять солдатъ, не позволятъ ли похитить пороху. Ну, караульные сгребли его и проводили до города, да все время прикладами въ шею, въ шею. Уже онъ имъ открылся: вотъ кто я! Не вѣрятъ. Развѣ, говорятъ, они такіе бывають? Да въ шею! Замертво у моста и бросили его...

А черезъ недѣлю—новый рассказъ: кувшинниковскіе молодцы ему накостыляли. У нихъ была вечеринка, а онъ и затесался въ сѣни.

Потомъ слухъ: поймали ночью на улицѣ, завезли на дачу, обмазали смолой и обваливали въ

перьяхъ, да въ такомъ видѣ и привезли домой къ балеринѣ и болонкѣ.

Что тутъ было правда, и что вранье,—сказать трудно. Но жизнь скучна въ захолустьяхъ, поэтому принимали за правду, и хохотали, и веселились до упаду. Конечно, это было неуваженіемъ къ правительствующей власти и поэтому...

И потому одинъ изъ мѣстныхъ докторовъ, зубоскаль, и „другъ“ невольныхъ обитателей сихъ мѣстъ—вдругъ былъ уволенъ по 3 пункту. Легко сказать!

— За что? Этотъ вопросъ былъ у всѣхъ на устахъ.

— За то, что зубоскалилъ, отвѣчали освѣдомленные люди.

Дѣло становилось серіознымъ.

Потомъ, немного погодя, полицеймейстеръ получилъ приглашеніе подать въ оставку. А онъ былъ долженъ во всѣхъ лавкахъ и во всѣхъ винныхъ погребахъ.

— Помилуйте, я ему развѣ довѣрялъ? Я его должности вѣру имѣлъ. А теперь мои денежки пропасть должны? Нѣтъ, благодарю покорно,—такъ изливалъ мнѣ свое негодованіе купецъ Ерастовъ.

— Ты, если тебѣ нужно, своихъ чинушей подтягивай, а торговлю не подрывай! Семь сотъ за нимъ вѣдь у меня!—аргументировалъ вино-торговецъ Громовъ.

Медицинскій инспекторъ хватался за виски:

— Помилуйте! У меня всѣ оспопрививатели

ссылные, всѣ фельдшера-ссылные, въ 2-хъ участкахъ врачи ссылные; онъ, вѣдь, всѣхъ ихъ разогналъ и разослалъ по, чертъ его знаетъ, какимъ дырамъ. Вѣдь у меня на губернію, больше Франціи величиной, остались одинъ врачъ и одинъ фельдшеръ!

Время шло и вопль начиналъ становиться всеобщимъ. Купчиха Кушнарева вопила, что закрыли устроенную ею школу; архитекторъ, который прокладывалъ новый трактъ черезъ пустыню къ далекому морю, полетѣлъ къ черту, потому что изысканія вели ссылные; у ветеринара отняли фельдшеровъ; въ судѣ началъ распоряжаться полиціймейстеръ; наконецъ, народъ—инородческій народъ переживалъ тогда особенное время. Настоящій губернаторъ (не вице) затѣялъ незадолго передъ тѣмъ „земельную реформу“. Цѣль ея была въ томъ, чтобы помѣшать сосредоточенію земли въ рукахъ инородческой аристократіи въ ущербъ массѣ. Реформу онъ поручилъ обсуждать на инородческихъ сходахъ, вызывалъ депутатовъ, собиралъ совѣщанія. Такъ какъ дѣло затрогивало важные интересы населенія,—то инородецъ волновался и собирался и толковалъ.

— Вотъ они плоды крамолы! Соціализмъ насаждать гдѣ вздумали! Все вѣдь это они, все соціалисты! Они составили проектъ, они осѣдлали губернатора, они мутятъ населеніе! Прекратигь!

Это распоряженіе—„прекратить“! докатилось до моего засѣдателя. Можете себѣ представить, что изъ него вышло? Конечно, для этого надо

знать, что за персона былъ мой засѣдатель въ глухомъ дикомъ улусѣ... Чтобы опредѣлить полноту власти, говорятъ: „онъ царь и Богъ“. Мой засѣдатель былъ больше и Бога и царя. Онъ дѣлалъ все, что хотѣлъ: билъ по лицу попадью, за то, что та обыграла его въ карты; выдралъ бороду у одного „тайона“, за то, что тотъ обогналъ его на состязаніи „бѣгуновъ“,—и все въ такомъ родѣ. И вотъ ему сказано:

— Во что-бы то ни стало прекратить!

— „Вовль поднялся тогда по всей странѣ,—писалъ-бы я, если бы былъ лѣтописцемъ,—ибо одни оплакивали своихъ коровъ, иные-же, своими трудами собранные рубли; иные-же, стеная, хватились за щеки и вопіяли: гдѣ мои зубы?“—Но я не лѣтописецъ, и интересуютъ меня не эти люди; интересуется меня вицерой.

Я видѣлъ его нѣсколько разъ, пріѣзжая въ городъ, и говорилъ съ нимъ раза два. Онъ поражалъ всѣхъ энергіей своей работы; дни и ночи онъ напряженно писалъ и рылся въ бумагахъ; онъ замучилъ всю канцелярію; онъ все искалъ и придумывалъ: — кого-бы искоренить, прищемить, кому-бы нанести ударъ. Черный, угрюмый, маленькій и безобразный, онъ не зналъ усталости, и чѣмъ болѣе осложненій вызывала его работа, тѣмъ болѣе расло его рвеніе.

— А, и прокуроръ? Протестъ отъ прокурора? Хорошо!

И на прокурора летѣло донесеніе.

— Что, архіерей тоже? Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше!

И писалось на архіерея, и придумывался маневръ на счетъ земли, отведенной подъ Преображенскую церковь, или еще что-нибудь такое.

Конечно, онъ не дошелъ до того, чтобы казнить своей властью, не дошелъ и до того состоянія, въ которомъ Гижигинскій исправникъ объявилъ себя Богомъ и велѣлъ поклоняться себѣ. Но, по общему мнѣнію, дѣло близилось къ тому. Стрѣльба по непокорнымъ уже была. Могло состояться и объявленіе себя Божествомъ.

Трагизмъ положенія состоялъ въ томъ, что отъ „странъ у Берингова пролива“ до обиталища нормальныхъ властей—весьма далеко. Нѣтъ телеграфа, а почтмейстеръ не надеженъ. Всѣ данныя для нескончаемаго владычества нашего героя. Неизвѣстно, сколько оно продолжалось бы, если бы не одинъ случай.

Вы понимаете, что тамъ, вдали, гдѣ даже солнце одурѣваетъ отъ тоски и забываетъ лѣтомъ заходить за горизонтъ, а зимой вставать отъ долгаго и тяжкаго сна,—людямъ бываетъ иногда ужасно скучно. Скучала поэтому и балерина. Вспомнились ей цвѣты, и оркестръ, и мѣсто „у воды“, и легкіе танцы въ костюмахъ эльфовъ, и она сказала мужу:

— Петя, устроимъ балъ.

— Помилуй, душа моя! Какой тутъ балъ. Вотъ мнѣ говорятъ, что акцизный надзиратель тоже... того...

— Пе-етя! мой другъ! Устроимъ балъ! Не уйдетъ твой надзиратель...

И балъ устроился. Конечно, онъ мало напо-

миналъ столичные балы; но, все-таки... Казаки возами возили молодую лиственницу и устроили рощу и зеленый сводъ у входа; было много стериновыхъ свѣчекъ и ананасные консервы изъ Сингапура; была пудовая стерлядь, двухпудовая нельма, оленьи языки, и безконечное количество бутылокъ. Насчетъ кавалеровъ было плохо.

Вмѣсто оркестра заводная шкатулка. Но, все-таки, танцовали, и балерина плясала и много, и хорошо, и съ кавалерами—польку трамблянъ (другой тамъ не умѣли), и качучу—одна.

Конечно, я тамъ не былъ. Мнѣ все разсказалъ квартальный, — разсказалъ въ почтительныхъ выраженіяхъ и съ лицомъ, полнымъ недоумѣнія.

— Я,—говорилъ онъ мнѣ,—для порядка тамъ стоялъ, для охраненія, значитъ, такъ какъ его превосходительство (такъ звали подчиненные вице-губернатора, хотя онъ и былъ всего коллежскимъ совѣтникомъ) за свою личность опасались шибко. Стою я при дверяхъ и смотрю въ залу. Ну тамъ, кто умѣетъ, танцы пляшутъ, больше генеральша. Нечего говорить—легко пляшетъ... А его превосходительство безпокойны были очень, всѣхъ угощаютъ, со всѣми разговоръ, а только, вижу я, все что-то полицеймейстера отзываютъ, шепчутся. Подходить тутъ ко мнѣ полицеймейстеръ и говорить:

— Спосылай въ управленіе, пусть двое городовыхъ еще придутъ, да поставь ихъ у чернаго крыльца, у кухни.

Ну пришли эти городовые. Пошелъ я ихъ размѣщать, да и другіе посты повидать—подъ окнами, на задахъ,—съ полъ часа и провелъ. Прихожу, а ужъ они за ужиномъ сидятъ, а Петръ Николаевичъ въ родѣ какъ рѣчь держатъ. Начало-то я не слышалъ, а тутъ, какъ я приспѣлъ, говорятъ они, сколько уроковъ имѣли, какая значитъ опасность была отъ вашего брата, заразили, молъ, всѣхъ... Ну, потомъ стали похваляться, какъ они все это своеволие сократили, и, можно сказать, вполнѣ побѣду праздновали-бы теперь, только въ томъ бѣда, что отовсюду сопротивленіе и отъ всѣхъ препятствія. И замѣчаю я, будто они становятся какъ бы не въ себѣ, рѣчь путанная, и дергаетъ ихъ, и на мѣстѣ не стоятъ, а даже прискакиваютъ отъ волненія и очень руками машутъ. А напротивъ то—совѣтникъ третьяго отдѣленія Климовскій; вдругъ онъ къ нимъ: И васъ я насквозь вижу, и вы такой, доберусь я и до васъ, погоди же, говоритъ. Тотъ вскочилъ,—помилуйте, говоритъ, какъ, я у васъ въ гостяхъ!.. Петръ Николаевичъ пуще волнуются и уже прямо кричатъ:—все знаю, не проведете меня, насквозь васъ всѣхъ вижу! Вы, говоритъ, господинъ директоръ, чему учениковъ своихъ учите? Мнѣ не кланяться? А вы гдѣ вчера были? Сговаривались? Противъ власти итти! Вы думаете—проведете меня? А тутъ какъ обернутся ко мнѣ, да какъ крикнуть.

— Обтяжновъ! Арестовать его, въ тюрьму! Да на акцизнаго надзирателя пальцемъ кажутъ, а сами тутъ же и валятся на полъ. Повали-

лись, а все еще бормочутъ: въ тюрьму, въ тюрьму! Ну обступили ихъ тутъ господа, и я тутъ.

— Бери подъ ноги!

Ну, кто подъ ноги, кто подъ руки, и понесли въ кабинетъ, а у нихъ пѣна, глаза подъ лобъ, выгибаются всѣ!..

Оказалось, что вице-губернаторъ просто сумасшедшій, — просто одержимъ маніей, осложненной какими то нервными припадками. На бату это стало всѣмъ ясно, обнаружилось съ несомнѣнностью и повело къ надлежащимъ послѣдствіямъ, т.-е., къ горячечной рубашкѣ, къ околоченной войлокомъ камерѣ, къ брому и другимъ снадобьямъ. И всѣ мы вздохнули свободно.

Но вѣдь цѣлый годъ были мы въ его власти, цѣлый годъ никому невдомекъ было, что передъ нами безумецъ, и что у безумца въ рукахъ неограниченная власть, которую онъ заставляетъ служить кровавымъ фантазіямъ, своему безумному бреду.

Когда настало лѣто, его отвезли на пароходъ, сплавили въ сумасшедшій домъ, куда-то въ Россію, кажется, въ Казань. Его везли на извозицкѣ, а за пролеткой бѣжалъ, ковыляя, нашъ бывшій надзиратель, старый казакъ; и грозилъ кулакомъ и кричалъ:

— У, кровопійца! Ты зачѣмъ меня разорилъ, аспидъ ты! Ты зачѣмъ безъ хлѣба меня оставилъ, со мнуками?..

Его убрали. Обоихъ убрали такимъ образомъ...

А я остался цѣлъ и невредимъ и, въ ряду другихъ, выдержалъ и этого безумца. И потому, развѣ неправъ я, говоря, что чувствую къ нимъ родственную нѣжность: могли меня уничтожить,—и пощадили! Добрые мои!

Но уважать? Какія же могутъ для этого быть основанія?

Шейне-Крейнэ.

Въ Якутскѣ ко мнѣ часто заходилъ докторъ Козловскій. Это былъ въ сущности не плохой, но опустившійся и спившійся человѣкъ, Десятилѣтняя жизнь въ инородческихъ улусахъ, безъ человѣческаго общества и безъ общественной дѣятельности, подсѣкла въ немъ жизненныя силы. Онъ пилъ мрачно, въ одиночку, и не показывался тогда тѣмъ изъ знакомыхъ, кого уважалъ. Въ трезвыя минуты былъ печаленъ и тихъ, и, приходя къ намъ, подолгу и какъ-то особенно умѣло игралъ съ нашей „куколкой“.

Однажды онъ зашелъ ко мнѣ, хотя трезвый, но возбужденный и разстроенный; долго мѣрилъ изъ угла въ уголъ комнату, молчалъ, хмурился и не игралъ съ ребенкомъ.

— Что съ вами, докторъ?

— Что жъ? Кажется, ничего особеннаго нѣтъ?

Но попозднѣе, пропустивъ нѣсколько рюмокъ водки, онъ вдругъ спросилъ меня:

— Скажите, а часто вамъ бываетъ стыдно?

— Чего стыдно?—не понялъ я.

— Да всего; себя, напримѣръ. Нѣтъ? Ну, еще бы! На принципахъ спите и ими же покрываетесь! Человѣки!..

— Да,—продолжалъ онъ, помолчавъ,—а мнѣ сегодня было стыдно... и теперь, того, неловко...

А ужъ на что, кажется, загрубѣлъ!.. Знаете, кого я сегодня видѣлъ? Свою первую!.. какъ это сказать... привязанность? или мечту? Вѣрнѣе надо сказать: занозу. Именно занозу, потому что занозила она мнѣ душу до сегодняшняго дня! Да... И видѣлъ я ее сегодня здѣсь, въ тюрьмѣ... Налейте!—и онъ подвинулъ мнѣ рюмку.

— А познакомился я съ ней давно, и въ особой обстановкѣ. Годовъ пятнадцать тому назадъ это было,—я служилъ тогда, только что со скамьи, въ одномъ городишкѣ въ Западномъ краѣ... Дрянной былъ городишко: грязь, бѣдность и жидова! Не люблю я этого народа;—тревожитъ онъ меня всегда: голодные, грязные, безпокойные... Все они напряженно ищутъ чего-то, хлѣба, должно быть, или, кто побогаче, гешефтовъ... Ну, жилъ я тамъ и скучалъ. Чиновники подобрались всѣ одинъ къ одному; и я съ ними и въ карты, и по графинчику: все, какъ и слѣдуетъ въ помойной ямѣ...

Хорошо. Сижу я однажды дома и думаю: куда бы мнѣ закатиться? А тутъ входитъ денщикъ и докладываетъ:

— Пришла тутъ одна,—папиросница...

— Гони ее къ чорту,—отвѣчаю,—есть.

А папиросница уже тутъ, пролѣзла въ комнату и проситъ:

Я, пане докторъ, за самую дешевую цѣну... Будете довольны, пане докторъ!

Смотрю, — жидовочка, маленькая, тощая, на лицѣ одни глаза да носъ. Кожа землистая, съ синевой. Стоитъ, тербитъ платокъ пальцами и

смотреть жалобными глазами. У побитыхъ собакъ бываетъ такое выраженіе. Соображаю: хроническое недоѣданіе.

— Ну, что жъ,—ходи...

-- Вы только, пане докторъ, позовите, когда нужно; я всегда тутъ, на дворѣ...

— Ну ладно, ступай...

Такъ вотъ, и стала она ко мнѣ ходить. Придетъ раза два въ мѣсяцъ, сядетъ въ углу, въ столовой, и вертитъ свои папиросы. Конечно, я на нее вниманія не обращалъ, — у меня какъ разъ тогда начался романъ въ этакое гнусное родѣ съ одной тамъ дамой, — но все таки замѣтилъ быстроту ея рукъ, и то, что она срабатываетъ свой фунтъ безъ отдыха, безъ перерыва. Прѣнапряженная работа, думаю. Прибавилъ ей поэтому двугривенный на тысячу. Благодарить, но добавляетъ:

— Я, пане докторъ, не просила.

Ишь ты, какой гордый галченочъ! Заинтересовался я, сталъ спрашивать. Оказывается,—матери нѣтъ. Отецъ — приказчикомъ, получаетъ рублей 15 въ мѣсяцъ, а дѣтей, кромѣ нея, еще штукъ пять. И живутъ всѣ на жалованье отца, да на ея заработокъ. Понятно, полуголодные. Захотѣлъ я ее подкармливать, — отказывается, иногда только стаканъ чаю выпьетъ. Ну, чортъ съ тобой.

Тѣмъ временемъ мой флиртъ сталъ меня затягивать, да и практика разрослась; поэтому сидѣлъ я дома мало и видѣлъ ее рѣдко.

Только однажды, позднимъ вечеромъ, влета-

еть ко мнѣ моя Шейне-Крейнз,—такъ ее звали, —и ужъ изъ сѣней кричить:

— Ай, докторъ, идите! Ай, докторъ, скорѣй!

А на дворѣ мракъ, а на улицѣ грязь по колѣно,—не хотѣлось мнѣ итти. Но посмотрѣлъ на нее, и сейчасъ одѣлся и пошелъ. Есть, батенька мой, такой взглядъ у человѣка,—у живыхъ его рѣдко видишь, у умирающихъ — чаще. Точно посмотрѣлъ человѣкъ во что-то ужасное и отразилъ его въ своихъ глазахъ. Потому что и смерть и жизнь, въ сущности, ужасны...

Да, иду я за ней,—а она бѣжитъ впереди меня, рысью бѣжитъ. Я отстану, она поманитъ рукой и все свое: „Ай, скорѣй, докторъ!“ Добѣжала до лачуги какой-то и юркнула въ нее. Вхожу и вижу: лежитъ въ углу на кровати, на голыхъ доскахъ юноша,—тоже израильскаго племени,—и тихонько верещить. Осмотрѣлъ. Плохо! —Воспаленіе кишокъ и перитонитъ. Надежды почти уже никакой. Однако, дѣлаю, что нужно; а она въ глаза такъ и смотритъ и все меня спрашиваетъ:

— Милый господинъ докторъ, будетъ онъ жить, будетъ?

Жаль мнѣ ея стало. Начинаю расспрашивать: что, какъ? Путається, плачетъ, но кое-какъ выясняется: малый ей не то другъ, не то женихъ. Служить рабочимъ на бумажной фабрикѣ. А фабрика тамъ большая и, нужно вамъ сказать, дѣйствительно подлая. Про нее и въ газетахъ писали, что дѣвушекъ тамъ дирекція, что ли, систематически проституировала, и что всѣ порядки и расчетъ и т. д. тоже соотвѣтственные.

Вотъ и затѣяли эти дураки стачку,—думать надо, здѣсь и доктрины ваши помогли...

Что это за стачки могли быть,—сами поймете. Мой пациентъ, такимъ образомъ, на фабрикѣ на своей геройствуетъ, а дома сосетъ кулакъ. Узнала Шейне - Крейнэ, что онъ голодаетъ,—давай изъ своихъ заработковъ экономить, и съэкономила - таки тотъ полтинникъ, который его погубилъ! Человѣкъ нѣсколько дней не ѣлъ, а она накупила на свои гроши провіанту, и какого? Горячихъ, крутыхъ баранокъ, да копченой, старой, еврейской колбасы, да этимъ и угостила голоднаго человѣка!

Когда она мнѣ это рассказала, я даже разсердился. Экая вѣдь дурость! Но потомъ, раздумывая, я увидѣлъ дѣло и съ другой стороны... Эхъ, налейте-ка по стаканчику!

Да, потомъ-то я себѣ все это ясно представилъ: какъ она узнала, что другъ голодаетъ, какъ обезпokoилась, какъ обрадовалась, что нашлись пятаки... И ужъ, навѣрно, выбирала то, что тотъ всего больше любилъ, самое вкусное. Всѣ булочныя обѣгала, чтобы найти баранокъ погорячѣе. И ужъ спѣшила же она, должно-быть, чтобы теплыми ихъ къ нему донести! Вѣрно подъ кофточкой ихъ несла, у самага сердца... а?

А вы представляете себѣ, какъ она его угощала? Едва ли. Потому что вы высохли на вашихъ теоріяхъ. А я представляю... Вбѣжала она къ нему запыхавшись, вбѣжала, и застыдилась. Гордые они, эти голыши, и чувствуютъ тоньше

нашего. А вдругъ обидится? Но потомъ переломила себя и весело такъ говорить:

— Ну, Моисей, давай вмѣстѣ ужинать. Страсть какъ хочу кушать!

А тотъ ворчитъ и не смотритъ на ѣду, хотя у самого слюна течетъ и глаза жадные...

— Пустяки, пустяки, мнѣ одной скучно..

И тоже будто съ жадностью, рѣжетъ и ѣстъ, а на самомъ дѣлѣ все ему подсовываетъ; и что бы онъ не замѣтилъ ея хитростей, болтаетъ и хохочетъ, и изъ глазъ ея льются потоки материнской нѣжности и дѣвичьей любви... А голодный человѣкъ смотритъ въ эти глаза и, какъ очарованный, ѣстъ и тяжелые баранки, и просмоленную колбасу, и не замѣчаетъ, какъ они камнемъ ложатся въ его отоппавшій желудокъ, какъ осколками стекла врѣзаются въ обезкровленный кишечникъ. И счастливы же были они, и такъ близки другъ другу, и казалась имъ жизнь прекрасной! Ей—хотя она его убивала, и ему,—потому что смерть была уже тутъ. Вотъ онъ трагизмъ жизни, подлинный, неприкрашенный... Водочки?

И мнѣ бы надо было все это отъ нея скрыть. А вмѣсто того, на ея вопросы я ей и ляпни:

— Вы бы еще камнями его накормили, или толченымъ стекломъ, а потомъ и приставали: будетъ живъ? будетъ живъ?..

Съежилась она вся, забѣгала глазами въ разные стороны, и безъ голоса, такъ говорить:

— Значить, умереть? Значить, я?..

— Безъ сомнѣнiя.

Сказалъ, и вижу: заметалась она, глаза совсѣмъ безумные стали, потомъ повернулась и пошла,—бродитъ по каморкѣ, а самое точно вѣтромъ качается... Стала въ уголокъ, прижалась къ стѣнкѣ, точно уничтожиться хочетъ,—и слышу я, какъ у нея зубы щелкаютъ и отбиваютъ мелкую дробь.

Испугался я, знаете, тутъ. Не всегда можно спокойно перенести видъ настоящаго горя. Подхожу къ ней и начинаю всякіе жалкіе пустяки говорить, чтобы поправить какъ-нибудь дѣло. Но она меня, впрочемъ, и не слышала, потому что вся ушла въ себя. Стою я, какъ дуракъ, и не знаю, что дѣлать, а самъ портсигаръ вынимаю съ ея папиросами, закуривать; вдругъ, какъ хватитъ она по моимъ папиросамъ, такъ онѣ съ портсигаромъ и посыпались на полъ. А она ихъ топчетъ, топчетъ ногою, и не говоритъ, а воетъ какъ-то, и нельзя разобрать что.

Вижу, что мое присутствіе около нея лишнее, —пошелъ къ больному, повозился съ нимъ. А самъ на нее все поглядываю. И начало у меня тутъ слагаться чувство, какъ будто это я, не она, а я убилъ человѣка. Потому что, какъ ни былъ я хамоватъ, а понялъ, что язва эта у нея не заживетъ. Потомъ убрался себѣ потихоньку, —она и не замѣтила.

На другой день послалъ денщика узнать про больного. Говорятъ—умеръ. Хотѣлъ было къ ней пойти,—не рѣшился. Сижу дома, и грызутъ меня разныя мысли о себѣ, о насъ, которые и папироски-то себѣ свернуть не хотятъ сами, и

о нихъ, умирающихъ съ голода, и невѣжественныхъ тоже отъ нищеты... Эхъ, батенька, начнешь эти мысли излагать,—ничего кромѣ риторики не выходитъ. Но тогда я всѣмъ существомъ понялъ, что въ ужасѣ той жизни,—и въ этихъ фабричныхъ порядковъ, и въ стачкахъ, и даже въ колбасѣ этой несчастной,—мы виноваты, мы, захватившіе въ свои руку и силу и достатки, и опустившіеся сами въ грязь и душевное убожество. А тутъ еще получаю,—какъ теперь помню,—записку отъ своей: мужъ въ отъѣздѣ, чтобы приходилъ пораньше. Ну, отвѣтилъ ей, что напрасно она думаетъ, будто я обреченъ вѣчно свиньей оставаться, и не пошелъ, никуда не пошелъ, ни къ больнымъ, никуда.

Прошло, однако, нѣсколько дней,—переболѣлось. Навелъ справки,—Шейне-Крейне дома, работаетъ... Думаю о ней, думаю о себѣ, и становится мнѣ ясно, что надо переломить свою жизнь, надо начать жить иначе, да, можетъ-быть, и ей помочь устроиться по-человѣчески... И вотъ, иду я разъ отъ паціента,—вижу, бѣжитъ она куда-то со сверточкомъ. Обрадовался я, но и заробѣлъ какъ-то... и вышло тутъ вотъ что. Мнѣ бы подойти къ ней прямо, взять за руку, да и посмотрѣть ей въ глаза такъ, чтобы она поняла, какой переломъ назрѣлъ у меня на душѣ, да и дать ей и себѣ аннибалову клятву. Это есть такія минуты въ человѣческой жизни, когда все будущее рѣшается,—и тогда надо умѣть найти настоящее слово и настоящій шагъ. А я, вмѣсто того, подхожу къ ней и улыбаюсь чего-то по-

дурачки. Вѣроятно отъ смущенія. А она поглядѣла на меня, да и обходитъ меня сторонкой, поспѣшно. Загородилъ я ей дорогу, да и говорю:

— Вы, что же не заходите? У меня и папиросы всѣ вышли.

Она опять въ сторону, а я все свое.

— Что же, придете?

Остановилась она и говоритъ отчетливо такъ, хотя и тихо:

— Изъ-за вашихъ папиросъ я и не узнала, что можно человѣку и чего нельзя. Будьте вы прокляты съ вашими папиросами!

Такъ я и остался стоять среди улицы. Стою и думаю: обвиненіе, значить, формулировано. И не мной однимъ? Ну, что я тогда и послѣ переживалъ,—можно, пожалуй и не рассказывать. Довольно того, что она черезъ мѣсяцъ какой-нибудь уѣхала куда-то. Куда? Я такъ тогда и не узналъ. Но понялъ, что это она сдѣлала попытку выбиться изъ того гроба, въ которомъ я оставался. И хотя я былъ образованный человѣкъ и врачъ, и все такое, а она—полуграмотная папиросница, но я зналъ вѣрно, что ушла она для чего-то большого и настоящаго, а я остался на навозной кучѣ.

Ну-съ, познакомился я съ ея семьей, носилъ имъ деньги, посылалъ провизію, потому что оставила она своихъ малышей на руки какой-то полуслѣпой старухѣ, и голодали они изрядно. Черезъ годъ узналъ, что она гдѣ-то въ повивальной школѣ. Узналъ потомъ и адресъ, сталъ ей писать. Что писалъ,—не помню, но помню, что

представлялась оно мнѣ стежечкой, по которой и я могъ бы выйти на дорогу. Вотъ, я и держался за нее. Держался, а самъ все больше привыкалъ водку пить въ одиночку... Потомъ и писать пересталъ,—не отвѣчала.

Только разъ ѣду я по Днѣпру на пароходѣ,—это уже нѣсколько лѣтъ спустя,—вижу: она!.. Выравнилась, значительнѣй стала и узнала меня. Сама сейчасъ подошла, и такъ просто, душевно поздоровалась и благодарить, что я ея дѣтей не оставилъ тогда, въ первое время.

— А вы, говорю, меня зачѣмъ оставили?

Молчать.

— Чѣмъ занимаетесь?—спрашиваю.

— Вотъ, говоритъ, кончила школу. А теперь на фабрику служу.

— Фельдшерницей?

— Нѣтъ работницей. Такъ мнѣ удобнѣе.

Посмотрѣли мы въ глаза другъ другу, и понялъ я, что она нашла свою дорогу. Переспросилъ, впрочемъ. Кивнула головой.

— Зачѣмъ, однако, не отвѣчали на мои письма?

— Зачѣмъ?.. Не товарищи мы съ вами... Но я васъ вспоминала.

Это она, дѣйствительно, вѣрно сказала: не товарищи. Потому, что вообще у насъ все это—дребедень: у меня промочено водкой, у васъ, мой милѣйшій,—литература; а у нихъ—настоящая правда: были задавлены,—хотимъ быть людьми!

А третій разъ довелось мнѣ увидѣть ее сегодня.

Здѣсь мой докторъ долго молчалъ, уставившись въ уголъ.

Да. Получаю я сегодня утромъ предписаніе: освидѣтельствовать состояніе здоровья такой-то, на предметъ отправки въ дальнѣйшій путь въ Колыму. А на словахъ передано: здорова, дождеть.

Ну, и свидѣтельствовалъ. Прихожу въ больницу,—лежитъ на койкѣ, закрывшись халатомъ; смотрю,—узнать трудно, только однѣ косточки и остались. Узнала и она меня. Съѣлъ я противъ нея, и она съѣла. И молчали. Да. И было мнѣ стыдно...

Докторъ всталъ и тяжело заходилъ по комнатѣ. Потомъ весь передернулся, какъ отъ чувства глубокой гадливости, и отрывисто бросилъ:

— Срамъ!

— Впрочемъ, она все поняла и была добра. И въ Колыму я ее не пустилъ. А написалъ большими буквами заключеніе: отправка—знакъ равенства—смертный приговоръ. Хотя это и не правда: будетъ жива! Будетъ жива, потому что воздухъ и я,—мы ее вылѣчимъ!

Козловскій былъ не правъ... Шейне-Крейна осталась жива, но вылѣчилъ ее не онъ, такъ какъ самъ скоро умеръ.

Въ обратный путь.

Итакъ, мы свободны! Какое прекрасное и незнакомое слово! Конечно, — если намъ сказали его здѣсь, на Ангартъ, въ истинно медвѣжьемъ углу, то мы услышимъ его и на родинѣ, тамъ, далеко, на западѣ?

И эти два лучшихъ въ мірѣ слова: свобода и родина—въ непривычной, но невольно навертывающейся связи, волнуютъ, радуютъ и мучатъ и мѣшаютъ собираться.

Не надо думать, что наши сборы — пустая и простая штука. Въ самомъ дѣлѣ: насъ четверо большихъ—я, жена и двое товарищей по ссылкѣ, ткачъ изъ Бѣлостока и щетинщикъ изъ Вильны. Пятому пассажиру скоро годъ. У насъ у всѣхъ 17 руб. и 45 коп. денегъ, рублей на 15 скарбу и только 3 шубы. А ужъ 15 сентября. По ночамъ морозы, до Енисейска 700 верстъ по рѣкѣ, а за Енисейскомъ еще многотысячный путь. Мы свободны, мы душой на родинѣ, такъ надо же доставить туда и плоть. Какъ?

Такъ какъ нашего съ женой остроумія не хватаетъ, то мы идемъ къ товарищу Певзнеру и говоримъ:

— Колумбъ! Ставьте и это яйцо на пятку!

Мы зовемъ его Колумбомъ—этого маленького, сморщенного щетинщика изъ Вильны, потому

что онъ рѣшилъ уже сотни головоломокъ, изъ которыхъ самая трудная — онъ не умеръ съ голоду и не повѣсился въ этой дырѣ.

Судите сами. Съ 8 лѣтъ и до 25 онъ былъ щетинщикомъ, т.-е. сортировалъ и связывалъ въ пучечки щетину; другой уже работникъ вставлялъ эти пучечки въ колодку, третій наклеивалъ крышку и т. д., послѣ чего, наконецъ, получалась щетка. Певзнеръ смотрѣлъ на нее и любовался, если она выходила удачно, но дѣлать ее онъ не умѣлъ. Вязать щетинку — на это ушло все дѣтство и вся юность... Пока онъ былъ одинъ, — онъ могъ кормиться; но когда судьба соединила его бракомъ съ одной яблочной торговкой, а затѣмъ послала трехъ дѣтей — онъ началъ чувствовать такой хроническій и вмѣстѣ острый голодъ, что рѣшилъ устроить стачку. Это было не оригинально, это было подражаніемъ Западной Европѣ, въ которой работники (такъ онъ слышалъ) этимъ путемъ избавляются отъ голода и завоевываютъ какія-то человѣческія права; и за это отсутствіе оригинальности онъ поплатился: его взяли и попросили жить на Анггарѣ въ деревушкѣ изъ 20 дворовъ, гдѣ никакихъ стачекъ не бываетъ.

Но такъ какъ эта просьба была выражена въ „охранительномъ порядкѣ“ и такъ какъ охранять постоянно жизнь всѣхъ желающихъ нельзя, то, поселивъ на Анггарѣ, тѣхъ 8 руб., которые даются другимъ категоріямъ ссыльныхъ, Певзнеру не дали: „охраняй свою жизнь теперь самъ!“ Чтобы понять весь юморъ этого новаго предло-

женія, надо принять еще во вниманіе, что Певзнеръ не умѣлъ говорить по-русски. Онъ говорилъ всю жизнь на жаргонѣ, на томъ испорченномъ нѣмецкомъ языкѣ, на которомъ толкуетъ еврейство въ закоулкахъ большихъ городовъ. Онъ умѣлъ, коверкая, произнести нѣсколько десятковъ русскихъ словъ, — но ангарцы его не понимали.

Итакъ, безъ языка, безъ ремесла, безъ пособія, безъ права отлучки, безъ привычки къ деревенскому труду, наконецъ, безъ охраны, надо было *жить одному*, безъ товарищей, въ чужомъ краю. И онъ прожилъ годъ. Когда, наконецъ, пріѣхали мы,—мы назвали его Колумбомъ. Когда-нибудь послѣ я расскажу, можетъ-быть, какъ утвердилъ Певзнеръ яйцо своего существованія. Но онъ не только утвердился самъ, а научилъ и насъ.

— А вѣдь не придумаешь, какъ быть,—говорить моя жена.

— Вы *можете* не придумать а я *не могу*,—отвѣчаетъ Певзнеръ. — Вы *можете* зимовать, а мнѣ нельзя и двухъ недѣль жить въ этой Сибири на свободномъ поселеніи. А этапомъ, какъ арестантъ, я теперь ходить не желаю ¹⁾.

— Такъ что же вы думаете дѣлать?

— Думаю думать.

И онъ надумалъ. Старая лодка была куплена; была нами самими засмолена, посрединѣ ея сдѣ-

¹⁾ Евреи ссылаются въ Сибирь, и, пока они въ состояніи наказуемыхъ, они тамъ терпимы. Искупивъ же вину и отбывъ наказаніе, какъ нетерпимые тамъ,—высылаются немедленно.

лана палатка для моей жены и нашего маленькаго пассажира; провіантъ, въ видѣ хлѣба, рыбы и кирпичнаго чаю—нагруженъ, и мы пустились въ двухнедѣльное плаванье.

— Однако, потопнете вы, шутъ васъ дери,— говорили намъ ангарскіе мужики.

Но Певзнеръ не смущался;

— Вы не бойтесь; это они отъ того, что у нихъ мало интеллигенціи.

По этому поводу мы назвали нашу лодку „Интеллигенціей“. И какъ это ни удивительно, она и нашъ щетинщикъ Певзнеръ довели насъ до Енисейска черезъ всѣ пороги и шивера, не смотря на волны и темныя ночи и нашу неопытность въ мореходствѣ.

А скверно было. Особенно скверно, когда послѣ холоднаго дня на водѣ надо было ночевать холодную ночь въ рѣчномъ туманѣ, съ маленькимъ человѣчкомъ на рукахъ, котораго такъ легко простудить, а затѣмъ и потерять...

Я вспоминалъ дорогу отъ Якутска на Колымскъ, по которой раньше пришлось ѣхать, и тѣ дѣтскія могилки и крестики на нихъ, которые виднѣются чуть не у каждаго изъ рѣдкихъ станковъ этого тракта. Это все умершія въ пути дѣти невольныхъ туристовъ. И отъ этихъ воспоминаній, особенно женѣ моей, дѣлалось жутко. Теперь, когда подъ Артуромъ и Мукденомъ мертвыхъ считаютъ десятками тысячъ, быть можетъ, зазорно говорить о десяткѣ могилъ. Можетъ-быть, можетъ-быть... Но, видите, господа, тутъ есть одно обстоятельство: могилы героевъ вызы-

вають поклоненіе и восторгъ, а молчаливыя могилки дѣтей въ мерзлой землѣ—только вопіють къ небу.

И когда поэтому у моей жены, съ кричащимъ и плачущимъ ребенкомъ на рукахъ, зазябшихъ отъ ночного мороза, появлялось мстительно-злое выраженіе на лицѣ, — Повзнеръ начиналъ веселиться и увѣрять, что все прекрасно и что пусть себѣ привыкаетъ кричать съ дѣтства: хорошій протестантъ выйдетъ.

— Будетъ вамъ дурачиться, Колумбъ, — сердилась жена, —ничего тутъ нѣтъ прекраснаго!

— Ахъ, какъ вы неопытны, мадамъ! Вѣдь это лучшее мое изобрѣтеніе—говорить, что все прекрасно, когда очень скверно. Развѣ можно иначе жить? А такъ, вѣрьте моей совѣсти, мы доѣдемъ и пріѣдемъ.

И доѣхали. До Енисейска.

— Колумбъ, какъ быть дальше? Послѣдніе пароходы ушли, на почтовыхъ ѣхать—не на что. Какъ быть?

— Очень просто. Я еврей, мнѣ Христовымъ именемъ просить нельзя, я ѣду на палочкѣ верхомъ. И панъ Бурскій (нашъ четвертый товарищъ) со мной, потому что онъ очень гордъ. А ужъ вамъ и съ вашей куколкой иначе нельзя: просите Христовымъ именемъ.

И мы начали. Не мы, но за насъ товарищи, —попросили тамъ 3 руб., въ другомъ мѣстѣ 5 и т. д. Сколотили 25 рублей и тронули нашу куколку на почтовыхъ.

Скверное это, господа, просить денегъ! Хоть и въ особыхъ условіяхъ, хоть и ради „куколки“, а безъ привычки,—безъ привычки не хорошо. Гораздо лучше пѣшкомъ, какъ „Колумбъ“; отмахать 330 верстъ до Красноярска можно дней въ 10, если достаточно силы. А если нѣтъ? Или если итти надо 3—5 тысячъ верстъ изъ Якутска?

Вотъ, наконецъ, и Красноярскъ. Здѣсь намъ сказали, что имѣется распоряженіе министра путей сообщенія перевозить возвращающихся по желѣзнымъ дорогамъ даромъ. А въ газетахъ мы прочитали, что коммерческимъ агентомъ сибирской ж. д. сдѣлано объ этомъ по линіи распоряженіе. Но на станціи оказалось, что тамъ ничего неизвѣстно.

— Но вѣдь въ газетахъ...

— Мало ли что въ газетахъ! Пока до насъ не дойдетъ предписаніе, мы не можемъ.

— Но когда же оно дойдетъ?

— Ну, это неизвѣстно. Бумаги вообще двигаются не быстро.

— Что же дѣлать? Ждать прибытія тихоходовъ?

— Не стоитъ вамъ ждать; вѣдь даромъ придется ѣхать въ IV классъ, по переселенчески; зимою съ ребенкомъ едва ли благоразумно. Да и тихо.

Значитъ опять побираться? Помогли намъ солдаты.

Въ Красноярскѣ непрестанное движеніе войскъ съ запада на востокъ и обратно. Здѣсь сборный пунктъ для запасныхъ и сибирскихъ ополченцевъ, которые подучиваются, комплектуются въ

части и ждутъ дальнѣйшей отправки. По всѣмъ улицамъ и переулкамъ то и дѣло видишь толпы людей въ сопровожденіи солдатъ, чаще унтеръ-офицеровъ. Это родина, въ объѣзды которой мы стремимся, высылаетъ на защиту себя своихъ дѣтей,—на смерть и раны будущихъ героевъ. Какъ истые герои, они одѣты бѣдно и сѣро. И героически протягиваютъ руку проходящимъ съ просьбой: „дайте на хлѣбъ, господины!“ Эта парадоксальная фигура стоитъ у меня до сихъ поръ передъ глазами.

Правда, мальчикомъ я училъ стихотвореніе: „Малютка, шлемъ нося, просилъ“... подаянія для Велизарія... Но вѣдь это когда было? Въ дряхлой Византіи, которая и развалилась отъ гнилости. Настоящее же происходитъ въ моей дорогой, юной, какъ увѣряютъ,—еще ни до чего не доросшей Россіи... Странно!

— Отчего хотя вы не подкармливаете ихъ?—спрашиваю я у одной мѣстной дамы-филантропки.

— Видите, мы было и хотѣли. Собрали денегъ и думали устроить отъ дамскаго кружка чай съ хлѣбомъ для запасныхъ. Но намъ отвѣтили, что это неудобно,—солдаты не нищіе, чтобы получать подаяніе...

— Какъ не нищіе, когда они на улицахъ руку протягиваютъ?

— Ну, это частнымъ образомъ, каждый въ отдѣльности...

Это разъяснило мнѣ дѣло:—частнымъ образомъ!..

Частнымъ образомъ,—и я послѣдовалъ доброму примѣру: собралъ, соскребъ, и вотъ, мы—въ вагонѣ... ѣдемъ, дорога прекрасная, ни толчковъ, ни тряски, ѣдемъ, на западъ горящій огнями заката, а на душѣ свѣтло и спокойно.

Напротивъ насъ, на лавкѣ, сидитъ понуро, сѣрый лицомъ, солдатъ въ рубашѣ съ георгиевскимъ крестомъ на ней. Это раненый подъ Мукденомъ тремя пулями, одной въ грудь на вылетъ, герой; онъ поправился настолько, что можетъ ѣхать домой одинъ; дали пассажирскій билетъ III класса, и вотъ мы,—бывшій защитникъ и бывший врагъ отечества—спутники.

— Куда вы ранены?—спрашиваю.

— А вотъ, двѣ въ ногу и одна въ грудь на вылетъ. На одну миллиметру отъ питательной аорты,—прибавляетъ онъ задумчиво и вѣско.

— А трудно приходится съ японцемъ?—любопытствую я.

— Какъ не трудно! Ихъ что мошкары, такъ и прутъ такъ и лѣзутъ. Извѣстно, имъ близко... А нашимъ... ѣдешь, ѣдешь—конца нѣту. Ну, и сторона чужая. Кабы на нашей землѣ—мы бы ни за что не допустили его. А то чужая, арендованная земля... китайская...

Я смотрю въ окно. Кругомъ пустыня. Лѣса, лѣса и рѣдкіе поселки новоселовъ. А за Обью поля, т.-е. то, что могло бы быть полями, если бы здѣсь былъ человѣкъ и приложилъ къ нимъ свою руку. Пять дней несемъ мы по этой сиротствующей землѣ, и навстрѣчу несутся намъ поѣзда, летяшіе мимо нея, туда, на арендован-

ную землю. Поѣзда, полные земледѣльцевъ-защитниковъ. Кто изъ нихъ вернется назадъ, чтобы оплодотворить трудомъ эту пустыню?

Станція. Хочу выходить. Но мой сосѣдъ,— георгіевскій кавалеръ, загораживаетъ мнѣ путь и говоритъ, спѣша и невнятно:

— Господинъ, не будетъ ли вашей милости... 16 копеекъ въ сутки получаемъ, молока бутылка гривенникъ стоитъ...

И протягиваетъ руку.

Я конфужусь не знаю за кого и сую ему сколько попало въ руку и бормочу, что именно, молока, непременно молока...

И завтра то же, и послѣзавтра то же. Все тѣ же подбитыя, сѣрыя фигуры съ протянутой рукой. И ничего геройскаго. Героя увидѣлъ я подъ Челябой. Выхожу на станцію и вижу на перронѣ высокую фигуру въ папахѣ и порыжѣлой буркѣ. Кубанскій казакъ, несомнѣнно, съ примѣсью горской крови. Сухой, точеный профиль, орлиный взглядъ и столько гордости въ осанкѣ. Онъ раненъ въ голову. Пуля попала между глазомъ и ухомъ и вышла среди лба. Глазъ вытекъ, но человѣкъ живъ. Кромѣ того, раздроблена рука. На чекменѣ бѣлый крестъ. Я залюбовался имъ, его красотой и спокойной важностью.

А ночью, когда вагонъ уже спалъ, этотъ кубанецъ вошелъ къ намъ, внимательно поискалъ мѣсто и, не найдя, сталъ у дверей въ проходѣ..

— Что, мѣста нѣтъ?—спрашиваю я.

— Народу до страсти много. Рука болитъ, голова не даетъ лежать... Пошелъ ходить, всѣ мѣста заняли.

— Да вы вотъ здѣсь у насъ устройтесь,—хочу я уступить мое мѣсто.

— Нѣтъ, зачѣмъ, у васъ дитя... Вотъ чайку бы напиться,—неожиданно прибавляетъ онъ, и—опять протянутая рука.

Мнѣ, наконецъ, когда мы подъѣзжа уже къ Москвѣ, приснилась эта рука. Приснилось, будто сама Россія стоитъ съ протянутой рукой и тѣмъ грознымъ выраженіемъ лица, которое такъ часто я вижу у моей жены, когда она тревожится за наше дитя... Стоитъ и просить. А дамы-патронессы готовятъ чай и печенье, и ласково улыбаются... Но тутъ что-то происходитъ малопонятное, и я говорю себѣ:

— Да, вѣдь, она не нищая, поэтому officialной милостыни давать нельзя. Другое дѣло, если частнымъ образомъ... И я начинаю рыться въ пустыхъ карманахъ.

Но, наконецъ, и Москва.

Даже жена перестала хмуриться, и наша „куколка“ смѣется и играетъ.

Сантиментально люблю Москву. Но еще больше—жизнь. А жизнь кипитъ въ ней, и я жадно ловлю глазами эти уже забытыя впечатлѣнія кипящей широкой жизни. И все мнѣ нравится и кажется красивымъ— и дома, и люди, и тотъ номеръ, въ которомъ мы, наконецъ, успѣли пить чай.

— Ты въ Москвѣ, моя куколка,—говорю я, —въ самомъ сердцѣ Россіи, правда, здѣсь хорошо?—и щекочу мою дочку: она такъ славно хохочетъ.

Но вы знаете, что идилліямизаниматься вредно. Я это забылъ, но не забыли другіе. Щелкаетъ дверь, и щелкаютъ шпоры.

— Вы ангарскіе путешественники?

— Мы.

— Когда изволите ѣхать далѣе?

— Мы хотѣли дня три...

— Приказано выѣхать сегодня съ 10 часовымъ поѣздомъ.

— Но, позвольте...

— Мое дѣло передать приказаніе.

— Прошу...

Да, вотъ оно каково дѣло.

Д о м а.

I.

Прошлое.

Императоръ Николай I, проѣзжая по Бѣлоруссіи, назвалъ ее красавицей, но безприданницей.

Если въ первой половинѣ опредѣленія заключался легкій комплиментъ, то вторая была сущей правдой для того времени. Лапотная и сермяжная Бѣлоруссія жила вся въ курныхъ избахъ и знала только мякинный хлѣбъ. И хотя на территоріи Приднѣпровья, какъ извѣстно, въ царствованіе воинственнаго императора никакихъ войнъ не велось, тѣмъ не менѣе мой отецъ рассказывалъ мнѣ, что ему приходилось видать бороны въ работѣ, запряженныя женщиной и коровой,—какъ теперь въ Манчжуріи, по словамъ В. И. Немировича-Данченко.

Когда настала пора реформъ, — Бѣлоруссіи коснулась только первая; лапотниковъ отпустили на волю, но позаботиться объ условіяхъ, благопріятныхъ для накопленія „приданого“, не сочли нужнымъ. Поэтому красавица обошлась безъ земства, безъ школъ, безъ медицины. За близкое же знакомство съ лукавой Польшей ей давали суровыхъ губернаторовъ.

И сѣкли же ее! Преимущественно за то, что она, ссылаясь на свою убогость, плохо справлялась съ податями. Но не только за это. Играли роль и ложныя идеи.

Это время прошло,—но чтобы сдѣлать понятной ту разницу, которую я нашелъ дома послѣ десятилѣтняго отсутствія, я хочу дать одну только картину этого умершаго прошлаго. Она стоитъ того, чтобы воды Леты ея не смыли.

Лапотники Краснохолмской волости заражены были лѣтъ двадцать-пять тому назадъ ложной идеей, что на сыпучемъ пескѣ при неудобномъ надѣлѣ и суровомъ сосѣдѣ ни рожь расти не можетъ, ни жить нельзя. Жить однако было нужно, и не только жить, но и платить,—и крестьянская мысль напряженно искала выхода изъ положенія, изъ котораго его, пожалуй, и не было.

Попытка обратиться къ выходу, подсказываемому метафизическими соображеніями о томъ, что „господамъ надо быть писанными въ бобыльствѣ и жить въ городахъ“,—кредита не имѣла, потому что еще слишкомъ свѣжи были воспоминанія о казакахъ, разрушившихъ воздушныя замки въ эпоху надѣленія крестьянъ. Тѣмъ большій успѣхъ получила мысль о переселеніи на Амуръ, на вольныя земли, когда съ Амура вернулся краснохолмецъ Климъ, лѣтъ пять или шесть тому назадъ переселившійся туда съ разрѣшенія или даже по вызову властей. Вернулся онъ, чтобъ перевезти своихъ родныхъ; и его толки и рассказы о безконечныхъ лугахъ, о пше-

ницѣ въ ростѣ человѣка, о никѣмъ неохранныхъ лѣсахъ—свели съ ума голодную деревню, задыхавшуюся въ пескѣ.

Я думаю, только евреи въ египетскомъ плѣну могли такъ мечтать объ обѣтованной землѣ, обремененной гроздьями винограда, какъ мечтали отошавшіе краснохолмцы о привольѣ далекихъ мѣстъ, засвидѣтельствованномъ очевидцемъ—ихъ одноподеревенцемъ. Какъ всегда, съ несомнѣннымъ фактомъ сплеталась легенда, и вымыселъ придалъ особую достовѣрность дѣйствительности, расцвѣченной всѣми цвѣтами радуги.

Во время безконечныхъ разговоровъ было выяснено и констатировано, что царь, жалѣя мужиковъ, подарилъ Амуръ царицѣ съ условіемъ, чтобы она не пускала туда помѣщиковъ; что царица зоветъ туда мужиковъ и даетъ имъ по пятьдесятъ десятинъ на душу; что всѣхъ ихъ тамъ попишутъ въ „царицѣны казаки“; что земля тамъ лучше, чѣмъ въ Кіевской губерніи, и. т. д.

Эти бесѣды шли всю осень, шли на базарахъ и въ домахъ, въ волостномъ правленіи и на завалинахъ избъ—всюду, гдѣ собиралось двое или трое...

Около Рождества данъ былъ неизвѣстно кѣмъ пароль:

— Треба собираться!

И вся волость начала собираться. Это былъ неудержимый порывъ, какое-то массовое помѣшательство. Ненавистны стали пески, непрерывна тѣснота и обиды; плѣнительный образъ безпомѣстной царицѣной земли манилъ и влекъ,—

и люди начали лихорадочно распродавать худобу, лишній скотъ, инвентарь, постройки, землю. Всѣ деревнюшки волости превратились въ сплошной и не прекращающійся базаръ, на которомъ бующіе эмигранты до хрипоты торговались, ругались и бились по рукамъ со всевозможными скупщиками.

Объ этомъ знали всѣ, потому что все дѣлалось публично и всенародно. Знали старшина и писарь, батюшка и дьячекъ, знали всѣ помѣщики, становой, исправникъ и прочее начальство. Въ гостинныхъ бесѣдовали о томъ, что съ этимъ дурачьемъ на лѣто останешься безъ рабочихъ; что Иванъ продалъ корову, и съ него надо взыскать третьягоднишній долгъ; что Петръ продаетъ добраго конька, и не слѣдовало бы выпускать его изъ рукъ, и т. д. Канцеляріи волновались тоже; становой ѣздилъ чаще, чѣмъ обыкновенно; исправникъ писалъ и докладывалъ въ губернію. Но таково скрипучее колесо нашихъ присутствій, что, пока оно повернется, жизнь уйдетъ такъ далеко, что ея и не догонишь. Пока въ канцеляріяхъ писали и думали, — все удобопродаваемое было продано, и волость ликвидировала свое хозяйство.

Не надо думать, что это было сдѣлано вполне самочинно. Нѣтъ, обстоятельные и дѣловитые мужики ходили и по начальству совѣтоваться. Были они и въ волости, — тамъ они слышали мало — членораздѣльные рѣчи; были у непремѣннаго члена и, вернувшись, увѣряли, что переселяться можно, что самъ членъ позволилъ.

Неизвѣстно, что имъ было сказано; но, по всей вѣроятности, это былъ случай бесѣды, когда люди слышали только то, что имъ страстно хотѣлось слышать и были глухи къ остальному.

Насталъ апрѣль, но краснохолмцы не пахали земли; прошелъ Егорій,—они и не думали сѣять. Вмѣсто того, нагрузивъ возы имуществомъ и выбравъ Клина атаманомъ, свыше тысячи душъ, считая женъ и дѣтей, тронулись въ путь — на Амуръ! Только тогда, когда полгода собиравшіеся люди уже ушли, заработала административная машина, застучалъ телеграфъ, заскакало начальство.

— Держи! Лови! Войска!!

Переселенцевъ остановили въ сосѣдней губерніи; завернули обратно и подъ конвоемъ солдатъ водворили на мѣста. Тамъ имъ приказали пахать и сѣять, и жать по-старому. Но все было распродано, и хозяйство разрушено. Рѣшили: отобрать проданное имущество у покупателей и возвратить продавцамъ. Не правда ли, какъ въ сказкѣ? А чтобы было и другимъ неповадно, рѣшили отечески наказать и самовольныхъ эмигрантовъ и скупщиковъ. И наказали. Мнѣ потомъ, нѣсколько лѣтъ спустя, рассказывалъ фельдшеръ краснохолмской больницы:

— Повѣрите ли, три дня таскалъ прутья изъ тѣла у сѣченныхъ! Что народу пересѣкли, страсть! А Клима, коноводъ ихній, такъ и не вынесъ испытанія,—отдалъ душу Богу. Старъ, правда, былъ. Но только и сѣкли!.. А еще въ тѣ поры еврей у насъ тутъ одинъ удавился. Эготъ впро-

чемъ, отъ амбиціи. Образованный, видите ли, еврей былъ, богатый, сосѣднее имѣніе арендовалъ. Ему скупщики и поставили купленный у мужиковъ скотъ на откормъ. Ну, вотъ,—когда пріѣхали власти,—стали разыскивать крестьянскій скотъ, да и нашли у него штукъ пятьдесятъ. А! Скупаль,—говорятъ,—народъ разорялъ! Темнотой пользовался? Драть! Ужъ онъ просилъ—молилъ, тысячу рублей залогоу клалъ, чтобы обождали, дали свидѣтелей представить, чей скотъ, доказать что скотъ только на откормѣ,—не стали ждать, высыпали. Ну, онъ и не стерпѣлъ... Такое, можно сказать, было время...

Вы скажете, какъ же жила потомъ эта волюсть? Это не мой секретъ, это—ея; я же не знаю, и чуда объяснить не берусь. Знаю, что жала и сѣяла, и пахала. Но что она чувствовала и думала, чѣмъ выкристаллизовались въ народной душѣ эти упрощенные приемы управленія, это—покажетъ жизнь.

Да, удивительно упрощена была административная практика этого добраго времени! У насъ тогда острили:

— А гдѣ нынче торютъ?

Потому что нельзя было себѣ представить и дня, въ который гдѣ-нибудь въ губерніи кого-нибудь не сѣкли.

Сурово дрессировали „красавицу“!

II.

Воскресшіе Боги.

„Опять знакомыя мѣста“!

Десять лѣтъ не видѣлъ я зеленую, холмистую Бѣлоруссію, съ ея соломенными деревенками, съ сермяжнымъ людомъ и темными еловыми лѣсами. И хотя все знакомо, и все, какъ будто, по-старому, но чувствую, что вѣтъ надъ нею какой-то новый духъ.

Такъ какъ я сталъ бобылемъ, то заѣзжаю къ старому доброму другу, — директору женской школы садоводства и огородничества въ знакомомъ имѣніи.

— Что новаго, Семенъ Ивановичъ, какія перемѣны?—спрашиваю я его.

— Плохія перемѣны-съ,—отвѣчаетъ онъ мнѣ, и дѣлаетъ огорченное лицо.—Народъ не тотъ-съ. Безпокойныя времена наступаютъ.

— Въ чемъ же дѣло?

— А вотъ поживете, сами увидите!

И я увидалъ. Часа въ три ночи, чуть брезжило на востокъ, вышелъ я на крылечко: мнѣ не спалось. Смотрю, какая-то тѣнь бродитъ подъ сушилкой, у погребовъ и конюшенъ. Окликаю.

— Свои, свои!—слышу недовольное ворчанье Семена Ивановича.

— Да вы что тамъ дѣлаете?

— Нельзя! Подбрасываютъ! Вотъ каждую ночь передъ зарею хожу и подбираю! Вѣдь у меня двадцать дѣвушекъ, все молодая,—вѣдь отвѣтственъ за нихъ-съ.

— Да неужто и у васъ прокламаціи?

— Онѣ. И всякія: есть писанныя, и печатныя, и разными тамъ способами, бываютъ—красными чернилами, а иногда и черными... Сегодня печатная,—и онъ досталъ и быстро спряталъ въ карманѣ какую-то бумажку.—Сколько я ихъ пережегъ, а все нѣтъ перевода. И вѣдь всюду, не только въ деревняхъ и по усадьбамъ: въ лѣсу-сѣ къ деревьямъ гвоздиками прибиваютъ!...

— И что же: мужики читаютъ?

— Писанныя нѣтъ. А печатныя читаютъ. Въ томъ и бѣда, что читаютъ... Грамотеи!...

— Ну, а школу свою вы уберегли, или тоже нѣтъ?

— Оберегаю, что могу, дѣлаю...

Днемъ, осматривая школу, я все искалъ глазами гдѣ-нибудь красную бумажку и, глядя на веселыя молодыя лица дѣвушекъ и на угрюмое лицо директора, я думалъ: гдѣ уберечь!

Подъ вечеръ я поѣхалъ къ моей старой нянѣ. Старушка живетъ на задахъ въ деревнѣ, вяжетъ чулки и читаетъ по покойникамъ. Обрадовалась мнѣ, появился самоваръ, и черезъ полчаса мы пили чай въ избѣ, наполнявшейся постепенно народомъ. Пришелъ и деревенскій Маеусаилъ, Григорій Сякъ, и былой скандалистъ и горлопанъ, а нынѣ волостной судья Климъ Апанасовъ, подошла и молодежь, которую я зналъ дѣтми. Эти удивили меня всего болѣе: всѣ въ городскихъ штанахъ „господскаго“ покроя... Сила деревенскаго консерватизма всего

полнѣе выражается въ обрядности и костюмахъ. И я всегда смотрѣлъ на новшество въ одеждахъ, какъ на вещественное выраженіе законченной эволюціи души. Эти суконные панталоны говорили мнѣ яснѣе, чѣмъ это сдѣлали бы слова, что дѣти лапотниковъ думаютъ:

— Мы тоже люди!

Бесѣдовали о томъ, о семъ; объ урожаѣ, о томъ, кто живъ, кто умеръ, кто оженился. Какъ всегда, деревенская бесѣда развивалась туго и, какъ всегда, сошла, наконецъ, на злобу дня—въ данномъ случаѣ на земельный споръ съ сосѣдомъ-генераломъ... И тутъ я раскрылъ отъ удивленія глаза и развѣсилъ уши...

— Наши гэто луга, наши, — увѣрялъ меня старый Сякъ,—потому намъ вѣдомо все, якъ было. При императрицѣ Акатеринѣ зачался еще споръ. Нашъ панъ и генеральскій дѣдъ, аль прадѣдъ, изъ-за той земли воевали... О! Когда тое было!... До размежеванья! Тогда паны и тѣ канавы на лугу копали, черезъ которыя вы еще мостикъ строили. Копали канавы, кабъ воду другъ у дружки помимо мельницы пустить. Сказывали старики наши,—годовъ пять мельницы стояли. Война была. Судились! Ну, только, судъ присудилъ нашему пану, и бумагу выдалъ, потому—тогда на памятахъ была граница, польская граница: мы у одномъ повѣтѣ, а генераль—у другомъ. Ну, только генеральскій дѣдъ тую бумагу скрылъ. Потомъ опять былъ судъ,—ужъ это передъ волей. Землемѣры ходили. И вышло отъ губернатора рѣшенъе владѣть намъ по уѣзд-

ную границу... Мы и тогда жалились, что наша граница повѣтовая, разошлась отъ уѣздной гонь на десять: тая идетъ подъ липками, а наша за Курганомъ.

Аргументація, какъ видите, изумительная... Гдѣ, какъ сохранилась память о томъ, что было безъ малаго за полтора ста лѣтъ; у кого хранилась и преемственно передавалось сознание правъ, основанныхъ на знаніи всѣми забытыхъ данныхъ о границахъ „повѣтовъ“, — польскихъ административныхъ единицъ; почему вынырнули эти права на Божій свѣтъ изъ своихъ тайниковъ, — кто это можетъ знать?

— Что жъ, вы опять будете судиться?

— Нѣ, гдѣ намъ судиться! Будя пороги оббивать! Не найти судами мужицкой правды! Паньскій судъ вѣдомъ! — градъ восклицаній, свидѣтельствующій о полномъ единодушіи публики...

— Милостивый баринъ! Помяркуйте сами, — чи жъ можно намъ судиться?.. — выдвигается впередъ судья Климъ... — Вамъ Сякъ казалъ, якъ нашу правую бумагу генеральскій дѣдъ стянулъ. Тяпереча генераль: енъ на лугу и домъ построилъ, и сады посадилъ; изъ Питера якъ прибуде, — заразы къ губернатору у гости; а губернаторъ къ яму на охвоту! Другъ за дружку стоятъ крѣпко! Лонись землемѣры уже ходили границу яму отбивать. Божя ты мой, что начальства съѣхалось: справникъ, становой, производитель, земскій, урядники со всего уѣзду!

Что же вы думаете дѣлать?

Молчатъ, сосредоточенно молчатъ. Наконецъ, старый Сякъ вѣско и въ то же время сокрушенно говорить:

— Будемъ косить.

— Да вѣдь это, ребята, бунтъ. Вѣдь вамъ солдатъ нагонятъ...

Въ отвѣтъ—галдежъ. Кто что говоритъ разобратъ нельзя, но слышны восклицанія:

— Нехай! — Якій это бунтъ! — Мы не отрицаемся. — Хиба мы денегъ у казну не платимъ? — Хиба мужикамъ ѣсть не треба? — Кругомъ утѣснили! Наша земля! Вѣрно! Косить! Попанували, —будя!

— Друзья мои, — говорю я, встревоженный этимъ взрывомъ страсти, —вамъ плохо будетъ!

— Бож-жухна ты мой! Чи жъ намъ теперь не плохо?

— Былъ указъ, вѣрно кажу тебѣ: былъ указъ, — проникновенно говоритъ мнѣ старый Сякъ, весь перегнувшись ко мнѣ, —чтобъ пописать пановъ бобылями у городахъ. А земля—мужикамъ. —Али начальство утаило! Потаили паны и той указъ...

— Указъ, указъ? Что той указъ?—врывается въ бесѣду молодой мужикъ, котораго лѣтъ десять тому назадъ я зналъ крохотнымъ свинопасомъ, — намъ вѣдомо и безъ указу, что намъ треба... Треба намъ полныя права. Мы полныхъ правъ желаемъ! Якъ у газетахъ пишутъ...

— Цыцъ ты съ газетой! — кричитъ на него Сякъ. — Милостивый баринъ! А вѣрьте жъ вы тому, что я кажу: объявится мужицкая правда.

— Сами объявимъ! Будя другихъ слушать!
Мы не согласны...

— У Полтавщинѣ...

Но развѣ могу я передать все, что я слышалъ тогда, что прорвалось неожиданно для меня изъ сѣрой, лапотной души? Всю старую боль и обиду, вѣчный голодъ и то, что выросло изъ упрощенныхъ приемовъ управленія, которыми отличались „господа“...

Я ѣхалъ домой уже ночью. Въ долинахъ и перелѣскахъ стоялъ и тихо, безшумно двигался туманъ. Неясный свѣтъ неполнаго мѣсяца причудливо игралъ на его волнахъ и бросалъ колеблющіяся тѣни отъ деревьевъ и кустовъ. Ночь жила своей таинственной жизнью, населяя міръ невѣдомыми существами. Я ѣхалъ и думалъ о томъ, что слышалъ, о томъ таинственномъ процессѣ, который вызвалъ изъ глубины народной души старыя мысли и чувства, влилъ въ жилы этихъ тѣней кровь современности, спаявъ съ идеями „газетъ“, (напечатанныхъ красною краской?), и пробудилъ къ новой жизни. Какъ эти туманы,—владѣютъ землею эти воскресшіе боги... И не разсѣются съ восходомъ солнца, потому что въ нихъ много настоящей жизни.

И вспомнилась мнѣ картинка изъ временъ ранняго дѣтства.

Крыльцо нашего большого деревяннаго дома; на крыльцѣ стоятъ: отецъ, исправникъ, я — въ сторонѣ; и предъ исправникомъ отставной кудлатый солдатъ въ крестьянской свиткѣ и съ порывѣлой солдатской шапкой въ рукахъ.

— Будешь говорить, что господъ не надо, будешь?—гремить исправникъ.—Лясь! И крестьянинъ валится на ступеньки отъ удара.

— Стой смирно! Смирно, мерзавецъ! Будешь говорить, что земля ваша?—Лясь! второй разъ; и опять крестьянское тѣло считаетъ ступеньки.

Сколько разъ повторялось это, я уже не помню. Но помню, что потомъ мы всѣ сидѣли на балконѣ, ѣли клубнику съ сахаромъ и сливками, вкусными, густыми сливками и исправникъ говорилъ:

— Будьте покойны, болтать теперь не будетъ. Я изъ нихъ выколочу эту дурь!..

И вотъ, прошло сорокъ лѣтъ, и эта дурь жива и даже цивилизовалась; и ей по-старому поклоняется народъ. Старыхъ боговъ все хоронили. Но,—воскресли боги!..

III.

Иллюзіи.

Обѣдъ кончился, и гости моего кузена, земскаго начальника, сидѣли на верандѣ за кофе и сигарами. Время сказалось въ томъ, что вмѣсто хозяйства и анекдотовъ на сценѣ была политика.

Всего болѣе я опасаюсь, — говоритъ старый усатый баринъ съ военной выправкой, мѣстный предводитель,—созыва крестьянскихъ депутатовъ, что ли-сь, въ комиссіи по пересмотру положенія о нихъ. Сейчасъ вообразятъ Богъ знаетъ что, и тогда съ ними вовсе не сладишь. Если для отпис-

ки надо ихъ мнѣніе, то можно спросить по волостямъ чрезъ земскихъ начальниковъ... И надо, конечно, прислушаться и что-нибудь дать, потому что иначе будетъ худо... Но вожжей распускать нельзя...

— Что жъ объ этомъ говорить, когда онѣ уже распущены... Ёду я сюда, и только проѣхалъ Масловку и поднимаюсь на горку, встрѣчаю стадо. Горка, скользко послѣ дождя, я ёду поэтому доброй рысью. А пастухъ какъ бросится къ лошадямъ, какъ заоретъ: „Стой! Развѣ не видишь товаръ идетъ. Стой! Покалѣчишь!“ Жаль, что не въ моемъ участкѣ, я посадилъ бы его на недѣлку...

— Вотъ этакъ и озлобляютъ мужиковъ-съ. Въдъ онѣ правъ. Сами говорите: скользко. Нѣтъ, такъ нельзя! Мужикъ, въ сущности, кротокъ и добръ, и бережно изъ него можно веревки вить...

— Повейте, повейте!

— И повьемъ, дастъ Богъ. Но улучшить ихъ положеніе надо... Вотъ будетъ земство: дорожную повинность переложимъ на деньги, экономическую помощь организуемъ...

— Насколько я знаю, и въ земскихъ губерніяхъ шумятъ.

— Что жъ, что шумятъ. Все дѣло въ томъ, чтобы не выпустить инициативу изъ своихъ рукъ...

— Его превосходительство вчера мнѣ говорилъ,—выдвигается впередъ молодой земскій начальникъ, фонъ Пфаль, — улучшение положенія крестьянъ должно произойти, но безъ ущерба.

интересамъ дворянства. Послѣднее въ виды правительства не входитъ.

— На чей же счетъ произойдетъ тогда улучшение? Нѣтъ, господа, на это рассчитывать нельзя. Но за нами надо оставить превалирующую роль и въ управленіи и въ земствѣ. Шараповъ даетъ интересную конструкцію прихода, какъ низшей земской единицы, съ обезпеченіемъ вліянія землевладѣльца и духовенства, и крѣпкой властью губернатора надъ земствомъ. На этотъ проектъ стоитъ обратить вниманіе.

— Что же, лучше онъ Шараповскихъ плуговъ? У меня они всѣ въ амбарѣ свалены...

Входитъ хозяйка и прислушивается къ разговору.

— Ну, господа, будетъ все объ одномъ; дамамъ навѣрно неинтересны эти бесѣды о троглодитахъ...

— Это кто—троглодиты?

— Да наши любезные пейзаже... Эхъ, драть бы ихъ... Все было-бъ тихо...

Я слушаю эти рѣчи и вспоминаю все, что я видѣлъ и слышалъ у моей няни, и мнѣ досадно и смѣшно.

Создали люди иллюзію, что они правятъ міромъ, что они могутъ что-то дать троглодитамъ, или сдѣлать такъ, что будетъ тихо... Добрый обѣдъ и сигары располагаютъ, вѣрно, къ иллюзіямъ и мѣшаютъ видѣть, что воскресли старые боги.

Господа дворяне.

Теперь, когда гг. дворяне играютъ несомнѣнно первую скрипку въ государственномъ концертѣ, я съ изумленіемъ спрашиваю себя: что же даетъ имъ на это право?

Быть можетъ, они и хорошіе люди, но, вѣдь, несомнѣнно, они плохіе музыканты. Откуда же такой почетъ?

Деревенскій сапожникъ Сенька, скандалистъ, пьяница и драчунъ, который въ дни моего дѣтства являлся по воскресеньямъ съ своею скрипичею къ намъ въ усадьбу и пилилъ неистово „подушечку“, „казачка“ и другіе танцы, сидя на крылечкѣ людской,—съ такимъ же правомъ могъ бы играть въ оркестрѣ Большого театра, съ какимъ гг. дворяне „дѣлаютъ политику“ великаго государства.

А между тѣмъ, Сенька умеръ пьяный въ канавѣ, возвращаясь съ какого-то кирмаша, гдѣ его слишкомъ много просили играть и слишкомъ много за то угощали. Гг. же дворяне повелѣваютъ судьбами „народовъ“, и къ голосу ихъ все такъ же, если не болѣе, чѣмъ прежде, прислушиваются наверху.

Отыскивая объясненіе этому историческому парадоксу, я пытаюсь найти и обнаружить тѣ нравственныя силы или тѣ великія идеи, кото-

рыми обладаетъ гербовая часть человѣческаго рода. Изъ учебниковъ исторіи я вынесъ заключеніе, что для властвованія надъ міромъ отъ народовъ, классовъ и отдѣльныхъ людей требуется нравственный подъемъ, требуется прикосновенность къ великимъ творческимъ идеямъ.

Торжество христіанства надъ античнымъ міромъ, завоеваніе Рима германцами, власть Бернарда и Петра Аміенскаго, возвращеніе античной культуры, побѣды пуританъ надъ войсками Карла XII, революціонный переворотъ, совершенный третьимъ сословіемъ, головокружительный успѣхъ Японіи, наконецъ, — все это намъ понятно, потому что мы чувствуемъ за всѣми этими побѣдами дыханье страсти и вѣяніе великихъ мыслей и безграничныхъ надеждъ.

Но—дворяне?! Двадцать пять лѣтъ тянется уже вполнѣ дворянская полоса русской жизни, и теперь, когда вся страна, до глубины взволнованная, бродитъ подъ напоромъ творческихъ силъ и великихъ историческихъ страстей, — гегемонія дворянства еще неоспоримѣе, чѣмъ когда-либо...

Не можетъ быть, чтобы такое прочное господство не опиралось на право.

Въ поискахъ за нимъ, окидываю мысленно знакомую мнѣ среду, — я вѣдь также отпрыскъ дворянскаго корня,—и ищу, ищу...

Самыя раннія мои воспоминанія относятся къ первымъ годамъ „воли. Я думаю, это было въ 63-мъ году, когда окончились временно-обязанные годы и начали вводиться уставныя грамоты.

Отецъ былъ предводителемъ дворянства, и въ домѣ у насъ собрался дворянскій съѣздъ. Я не помню, конечно, о чемъ тамъ говорили; но зато прекрасно помню, какъ невыразимо много ѣли.

Длинные столы, составленные „покоемъ“, составленные посудой, и за ними—люди въ кокахъ, въ высокихъ черныхъ шейныхъ платкахъ. Они сидѣли за этими столами, кажется, круглая сутки. Они были тамъ, когда я, вставъ и умывшись, ускользалъ отъ няньки, чтобы посмотрѣть въ щелку; они сидѣли, когда я возвращался съ прогулки; часами сидѣли они, и жевали, и кивали своими коками, и сочно хохотали. А когда приходила пора ложиться спать, они сидѣли опять, и долго мѣшалъ мнѣ спать грохотъ и стукъ посуды и хлопанье дверей въ коридорѣ, по которому торопливо носили взадъ и впередъ подносы, блюда, вазы...

Однажды я пробрался въ „закусочную“. Около одного углового стола съ закуской стояли съ красными, страшными лицами братья Борзые. Одинъ—громадный, съ формами атлета, съ бычачьей шеей и крохотной головой; другой—маленькій и круглый, какъ шаръ. Я сѣлъ на диванъ и съ ужасомъ смотрѣлъ на работу ихъ челюстей: они ходили кругомъ стола съ тарелочками въ рукахъ, большіе, съ неворочающимися шеями и налитыми кровью глазами, и пожирали...

Вдругъ отворилась дверь, и быстрыми неслышными шагами прошла черезъ комнату моя мать,—бѣлымъ ворономъ казалась она мнѣ все-

гда въ этой дворянской стаѣ, — тихая, человѣчная...

Борзые ее замѣтили, и тотчасъ же большой Борзой наклонился къ маленькому, и изъ его жующей, полной ветчиной пасти послышалось конфиденціальное рычаніе:

— Братъ, а братъ! Какая превосходная ветчина...

Маленькій посмотрѣлъ на большого звѣрски, и, весь побагровѣвъ, прорычалъ ему въ октаву:

— И какая великолѣпная хозяйка!

Это называлось—быть любезными!

Я въ ужасъ убѣжалъ.

Я убѣжалъ, но у меня на всю жизнь остались въ памяти эти атлетическія фигуры дворянъ-обжоръ, со свирѣпыми октавами, съ кухонными любезностями, и положили, быть можетъ, нѣсколько карикатурный отсвѣтъ на мое отношеніе ко всѣму російскому дворянскому словію.

Но карикатура — карикатурой, а правда — правдой. И правда эта въ томъ, что дворянствомъ проѣдались и пропивались колоссальныя суммы. Выкупные платежи, милліарды, вырученные займами, залогами и продажей земли, громадныя суммы, полученныя изъ государственныхъ казначействъ въ качествѣ жалованія за „службу“— все шло на поддержаніе „приличнаго образа жизни“, т. е. на жизнь не по средствамъ.

У разныхъ дворянъ это совершалось по разному. Одни,—тихіе моты,—не позволяли себѣ ничего „лишняго“. Они только не могли жить

иначе, какъ „прилично“, и проживались исподволь, но неуклонно. Другіе,—болѣе пылкія натуры,—колебались между сквалыжничествомъ и скупостью въ будни и полнымъ парадомъ въ праздникъ. Такими праздниками, *rag excellence*, являлись поѣздки въ городъ, а тѣмъ паче въ Москву, или Варшаву. Тутъ въ мѣсяцъ глупѣйшимъ образомъ протирались глаза годовымъ доходамъ, и половые изъ трактировъ, буфетчики изъ клубовъ, извозчики и дамы отъ Максима сохраняли трогательнѣйшее воспоминаніе о „настоящихъ господахъ“.

„Эпоха великихъ реформъ“ и первые годы начавшейся затѣмъ реакціи были временемъ „дворянской фронды“. Я уже подросъ къ концу этого періода, и помню то оппозиціонное настроеніе, которое царило въ дворянскихъ гостиныхъ.

Коки и шейные платки постепенно выходили изъ моды; бывшіе „владѣльцы душъ“ постепенно вымирали; но разговоры о „чертъ знаетъ какомъ“ правительствѣ, о „непозволительномъ либерализмѣ“ и о „канальѣ мужикѣ“ составляли любимую тему застольныхъ бесѣдъ.

Отзвукомъ этого настроенія явилось то, не лишенное веселья злорадство, которымъ были встрѣчены извѣстія о нашихъ неудачахъ во время послѣдней турецкой войны. Хохотали надъ Крюднеромъ, Померанцевымъ и другими кукурузными генералами, бѣгавшими изъ-подъ Плевны; издѣвались надъ храбрымъ Гурко и его кавалерійскимъ наѣздомъ въ „долину розъ“, плодомъ котораго была поспѣшная „ретирада“ отца

лидвалевскаго компаніона и тысячи вырѣзан-
ныхъ турками болгарскихъ семействъ. Но всего
больше веселились по поводу „политики на Бал-
канахъ“.

— Конституціи для болгаръ захотѣли... бра-
тушки! Славяне! А съ поляками что сдѣлали?
Муравьева посадили? Разорили цѣлую страну?
Конституціоналисты!

Поэтому, когда начались террористическія
покушенія, въ дворянскихъ гостинныхъ не за-
мѣчалось особеннаго возмущенія. Напротивъ —
были заинтригованы.

— Любопытно... Ишь, мерзавцы, что выду-
мали...

Такъ любители цирковыхъ развлеченій смот-
рятъ на головокружительные пируэты воздуш-
наго гимнаста, а съ галерки кричатъ съ одобре-
ніемъ: — Вотъ такъ подлець! — когда акробатъ
переходитъ предѣлы возможнаго.

Но понемногу оппозиція прекратилась. Здѣсь
дѣйствовало много причинъ. Во-первыхъ, денегъ
становилось все меньше. Хозяйство шло изъ
рукъ вонъ плохо, и прежде всего потому, что
фрондировавшій обжорливый баринъ не умѣлъ
и не хотѣлъ работать. Онъ умѣлъ лежать на
диванѣ, умѣлъ болтать въ гостиной, умѣлъ, — и
это знаніе онъ приобрѣталъ съ юности въ „дѣ-
вичьихъ“ — распутничать; но хозяйничать онъ не
умѣлъ. Въ нашей губерніи, по крайней мѣрѣ,
хорошія хозяйства принадлежали или нѣмцамъ,
или полякамъ, въ которыхъ, послѣ усмирненія

„мятежа“ и подѣ давленіемъ правительственныхъ репрессалій, развился культъ земли.

— Насѣ душатъ, насѣ сгоняють съ земли. Не отдадимъ ни пяди!

И они работали, глодали въ парадныхъ столовыхъ, сохранившихся отъ прежнихъ лѣтъ, иногда одну сухую корку хлѣба, но землю удержали и создали образцовое хозяйство.

Но русское дворянство,—оно катилось въ пропасть съ головокружительной быстротой.

Часть такъ и не стала на ноги, утратила „положеніе въ свѣтъ“, ударившись въ аферы, въ плутни—или спивалась въ разоренныхъ гнѣздахъ, „занимаясь“ охотой, лошадьми и „дѣвками“.

Помню, я разъ попалъ въ такую компанію. Домъ большой, съ колоннами. Разрушенныя „службы“ вокругъ него. Въ залѣ, „въ два свѣта“, съ обвалившейся штукатуркой потолка и загаженными стѣнами, въ залѣ, въ которой раньше гремѣли крѣпостные оркестры и до утра плясали нарядныя пары,—сидѣло на полу, на продранномъ коврѣ, штукъ пять „дворянъ“ съ обрюзгшими сизыми лицами, вокругъ четвертной бутылки. Одѣтые въ чемарки, черкески и другіе экзотическіе костюмы, они пили, закусывая огурцами и чернымъ хлѣбомъ, и отличались отъ хитровцевъ только особымъ „благородствомъ“ пьяныхъ лицъ. Потомъ они устроили охоту: выпустили на дворъ пару свиней, усѣлись на лошадей и съ ружьями въ рукахъ гоняли свиней по двору, травили ихъ дворняжками и стрѣляли въ свиней и въ собакъ...

Я думаю, „дворяне“ такого сорта съ особымъ увлеченіемъ подавали голоса за исключеніе депутатовъ Думы, опозорившихъ ихъ честь.

Другая часть дворянъ удержалась отъ паденія, ухватившись за веревку, брошенную правительствомъ. Дворянскій банкъ, соло-кредитъ, служба по крестьянскому и общему управленіямъ—спасли остатки состояній и слили дворянство и бюрократію въ одно цѣлое. Тогда оппозиціонный духъ смѣнился въ дворянствѣ обнаженнѣйшимъ сервилизмомъ. То показное достоинство, которое отличаетъ метръ-д'отелей, иногда швейцаровъ и всегда „кровныхъ“ дворянъ, то достоинство, которое брызжетъ изъ людей на дворянскихъ собраніяхъ, пряталось и исчезало безъ слѣда при встрѣчахъ съ сильными міра сего.

Спины гнулись, дворянскія уста молчали, когда нашъ губернаторъ, страдавшій горделивымъ помѣшательствомъ и говорившій:

— Мой Государь! Моя губернія!—кричалъ и стучалъ ногами на дворянина-земскаго начальника, на дворянина-предводителя дворянства.

Этотъ лакейскій духъ людей, кормящихся отъ власти, дошелъ въ нашей губерніи до чисто сказочныхъ размѣровъ. Однажды, послѣ открытія отдѣленія Дворянскаго банка, всѣ предводители дворянства, съ губернскимъ во главѣ, отправились къ губернатору просить его передать Государю благодарность сословія за милость.

Губернаторъ заставилъ ждать выхода два часа; затѣмъ вышелъ, выслушалъ стоя и сказалъ:

— Благодарю. Радъ. Передамъ моему Государю о вашихъ чувствахъ. Присядьте на одну минуту. Прошу!—и указаль на стулья, стоявшіе рядами у стѣны.

Губернскій предводитель изогнулся ужомъ и съ ехиднѣйшей любезностью отвѣтилъ:

— Даже минуты драгоценнаго времени вашего превосходительства не рѣшаемся мы отнять у васъ. Имѣемъ честь...

И низко и церемонно поклонившись, дворяне ушли, не присѣвъ.

Вся губернія была потрясена, изумлена, восхищена достоинствомъ, остроуміемъ и смѣлостью своего предводителя.

— Каковъ!? „Даже ни одной минуты?!“ Не позволить онъ себѣ на ногу наступить!..

Это изумленіе, этотъ восторгъ пришибленныхъ людей передъ чужой, но „дворянской“ „смѣлостью“, сильнѣе, чѣмъ что-либо, свидѣтельствовали для меня о духовномъ маразмѣ купленныхъ людей.

Зато, если путемъ „случая“ такой пришибленный дворянинъ достигалъ „степеней извѣстныхъ“, какимъ павлиномъ распускалъ онъ свой дворянскій хвостъ, съ какимъ азартомъ вымещалъ на всѣхъ,—и прежде всего на мужикѣ и на „либералахъ,“—свое бывшее паденіе и долгое униженіе.

Вотъ гдѣ корень той злобной беззастѣнчивости, что называется „сильной властью.“

Давая характеристику дворянской массы, я совершенно не касаюсь ея умственной жизни.

И это потому, что этой жизни не было и нѣтъ. Въ помѣщичьихъ усадьбахъ, какъ правило, не бываетъ ни книгъ, ни другихъ признаковъ умственной жизни. Газета—иногда „Свѣтъ“, иногда „Новое Время.“ Изрѣдка журналъ. Чаше романъ. Очень рѣдко нѣсколько сочиненій по сельскому хозяйству... Вотъ и все, что свидѣтельствуешь объ умственномъ трудѣ, о работѣ мысли. И это понятно, потому что основныя дворянскія идеи,—что мужикъ—воръ и скотина, а наука—вредная роскошь,—ни въ книгахъ, ни въ умственномъ трудѣ не нуждаются.

Конечно,—свѣтъ не безъ добрыхъ людей, и среди дворянъ есть люди другого типа. Но, становясь человѣкомъ и гражданиномъ, приобрѣтая высшіе интересы и благородныя склонности, дворянинъ теряетъ „свое“ обличіе, перестаетъ чувствовать себя „бѣлой костью,“ государственнымъ нахлѣбникомъ, опорой отечества. Онъ теряетъ дворянское обличіе и становится членомъ великой человѣческой семьи. Но такихъ мало.

Итакъ, въ чемъ же заключаются дворянскія права на роль первой скрипки?

Въ великой страсти къ благамъ міра. Въ гибкой спинѣ. Въ глубокомъ убѣжденіи, что все погибнетъ, если исчезнетъ сословіе государственныхъ нахлѣбниковъ.

И съ этимъ духовнымъ багажомъ они шумятъ на всю Россію, мостятъ плотину противъ все-сокрушающаго духа времени и, навѣрное, обдумываютъ теперь планъ, какъ бы исключить изъ дворянскаго званія все костромское дворянство.

Жаль ужасно, что умеръ скрипачъ—сапож-
никъ Сенька. Быть можетъ я пристроилъ бы его,
благодаря моимъ литературнымъ связямъ, въ
оркестръ Большого театра. Видимо, теперь такое
время, когда и это можно, когда все можно.

Рождественскій подарокъ.

Мой другъ и родственникъ попалъ въ ту бѣду, отъ которой теперь никто не гарантированъ. На него взглянуло недреманное око, блюдущее порядокъ и безопасность губерніи, и—сглазило.

Жилъ онъ себѣ тихо и благородно; немножко философствовалъ, немножко осуждалъ; могъ иногда, сказать прочувствованное слово,—и за это пользовался уваженіемъ. Имѣлъ большую семью и большую практику, такъ какъ былъ онъ хорошимъ докторомъ; водились деньги, и деньги эти раздавалъ направо и налѣво, потому что не былъ скупъ и, пожалуй, имѣлъ отзывчивую душу.

Всего этого оказалось достаточнымъ для того, чтобы мой другъ очутился на границѣ, гдѣ вѣжливый жандармскій офицеръ вручилъ ему заграничный паспортъ и пожелалъ счастливаго дальнѣйшаго пути.

Довольно обычно, но тѣмъ не менѣе—нелѣпо.

По долгу родства и дружбы, я не могу помириться съ несчастьемъ моего друга, и лечу въ Петербургъ. Иду въ знакомую канцелярію просить и хлопотать.

Пріятно побродить по давно знакомымъ, по-

чти роднымъ мѣстамъ... Все тѣ же великолѣпныя фигуры у дверей съ медалями, бакенбардами, видомъ министровъ. Все тотъ же благообразный чиновникъ въ пріемной, съ „Анной на шеѣ“ и бирюзовымъ перстнемъ на мизинцѣ. Все тѣ же, истомленные скукой ожиданья и тоской по близкимъ лица просителей, тщетно ждущихъ, когда откроются двери и явится „лицо“.

Въ былое время, по неопытности, я тоже долго и безнадежно сиживалъ на продавленномъ диванѣ. Теперь я опытниѣе и поступаю такъ: даю три рубля швейцару съ министерской рожей и черезъ пять минутъ бесѣдную съ „Анной на шеѣ“ въ корридорѣ. Это удовольствіе стоитъ еще синенькую, но зато я попадаю въ темный внутренній корридорчикъ, гдѣ излагаю дѣло, вручаю прошеніе и еще маленькій конвертикъ.

Качусь далѣе, какъ по маслу, и попадаю передъ свѣтлыя очи „лица“, уже немножко подготовленнаго.

„Свѣтлыя очи“ — это, конечно, фигуральное выраженіе. На самомъ дѣлѣ, очи у „лицъ“ всегда, какъ оловянныя пуговицы. Этимъ „они“ выѣзаютъ передъ „чернью“, что земныя увлеченія имъ несвойственны, что они „выше міра и страстей“. Такіе глаза, какъ и бачки котлетами, какъ и глупыя рѣчи объ основахъ и самобытности, составляютъ необходимую принадлежность дѣлающаго большую карьеру лица.

— Я не смѣлъ бы беспокоить ваше превосходительство,—говорю я,—но Антонина Николаевна прямо-таки приказала ѣхать мнѣ къ вамъ...

Въ оловянныхъ пуговкахъ на минуту вспыхиваетъ игривый огонекъ, но лицо остается столь же непроницаемымъ.

— Въ чемъ дѣло?

Я излагаю и получаю въ отвѣтъ:

— Сдѣлаю запросъ въ губернію. Но предупреждаю: дѣло серьезное...

Остается одно, ѣхать туда „улещать“. Сажусь въ вагонъ и ѣду.

— Вы напрасно идете къ генералу, не заручившись рекомендаціей,—говорятъ мнѣ мои друзья.—Тѣмъ болѣе, что онъ совсѣмъ сумасшедшій.

Но мнѣ прежде всего нужно узнать въ чемъ дѣло. И потому „заручку“ я оставляю на послѣ. Надѣваю фракъ, значекъ, шапо-клякъ и отправляюсь.

Однако, это не такъ просто—попасть къ нему. Его превосходительство „очень заняты“, и я долго жду въ передней, гдѣ меня глазами обыскиваютъ два унтера. Что жъ! вѣрно ихъ такая обязанность.

Потомъ меня ведутъ внизъ и вверхъ, и опять какими-то закоулками, и оставляютъ еще на полчаса въ какой-то „людской“, набитой „страннаго вида“ людьми и унтерами.

Наконецъ, просятъ въ кабинетъ, гдѣ я вижу стараго генерала въ креслѣ, прижатомъ къ простѣнку между окнами. Передъ нимъ письменный столъ и опять два унтера—по бокамъ.

Генераль суровъ и проницателенъ. Онъ ѣстъ меня глазами и буравчикомъ вонзается подъ жилетъ и въ черепъ.

— Чемъ могу служить?—говорить онъ хриплымъ басомъ.

Я излагаю дѣло.

— Назадъ? Сюда? Низ-за-что!

— Но помилуйте,—возражаю я.—Вѣдь у него семья, практика... Вѣдь вы разорили жизнь цѣлой семьи. За что? Какъ я узналъ, противъ него не выставлено никакого обвиненія. Никакихъ преступныхъ дѣйствій. Ни къ какой партіи онъ не принадлежитъ. Общее уваженіе...

Мой собесѣдникъ багровѣетъ.

— Вотъ, вотъ! Вотъ это, именно. Общее уваженіе, вліяніе... Вы говорите: никакихъ преступныхъ дѣйствій? А вліяніе? Это, милостивый государь мой, хуже дѣйствій! Кто ихъ всѣхъ науськивалъ? Кто подучалъ? Самъ въ тѣни. Самъ ни въ чемъ не виноватъ. Всѣми уважаемъ... Ха-ха-ха! И не виноватъ!

— Но, позвольте. Надо же имѣть доказательства того, что это онъ всѣхъ науськивалъ...

Генераль склоняетъ голову на бокъ и продѣваетъ руку въ петлю эксельбантовъ. Онъ сардонически, тихонечко хохочетъ, полузакрывъ глаза.

— Доказательства? Они—здѣсь! И рука, опутанная, эксельбантами, стучитъ въ генеральскую грудь.

Я улыбаюсь, и моя улыбка вызываетъ неожиданную бурю.

— Милостивый государь! — гремитъ генераль.—Вы изволите шутить? Вамъ весело? Да-съ? Они лишили меня сна. Лишили увѣренности,

что жизнь моя безопасна! А вы изволите веселиться? Не желаю. Помилуйте! что они надѣлали? Всѣхъ возстановили, всѣхъ возмутили... Бунтъ! Бунтъ противъ правительства, противъ высшихъ сословій, противъ нравственности...

Широко раскрытые глаза ходятъ колесомъ, и наклоняясь ко мнѣ, онъ медленно, съ громадной силой убѣдительности говорить мнѣ.

— Вы знаете, онъ, вашъ родственникъ, ни разу не вздумалъ мнѣ поклониться! Меня нѣтъ! Я—ничто, я—нуль! Еще бы! Стоить ли кланяться?

— Но, быть можетъ, онъ не былъ знакомъ съ вами?

— Пустое! не незнакомство, а идеи. Онѣ отравили все. Онѣ прямо сдѣлали жизнь невозможной. Поймите—невозможной! Не вѣрите? Спросите жену. Пусть она вамъ скажетъ, сколько горничныхъ должны мы были прогнать... А? Всѣ дерзятъ, всѣ грозятъ адвокатами. Да! адвокатами, за „дуру“, за щелчекъ по носу — адвокатами! И такіе адвокаты есть, которые нарочно возбуждаютъ прислугу противъ господъ. Нѣтъ, такъ жить нельзя.

Разговоръ принималъ такой оборотъ, какого я не ожидалъ, и я не зналъ, что мнѣ сказать. Но собесѣдникъ, вѣроятно, истолковалъ мое молчаніе въ пользу убѣдительности своей рѣчи, и конфиденціально продолжалъ.

— Изъ Уфы я уже долженъ былъ уѣхать изъ-за этихъ адвокатовъ. Представьте: моя жена у мирового, кухарка про нее плететъ Богъ знаетъ

что, адвокатъ распинается и отдаетъ насъ на поруганіе... Благодарю покорно! Что жъ, вы хотите, чтобы и здѣсь пошло то самое? Нѣтъ-съ, не позволю!

— Ваше превосходительство,—началъ я, повѣрьте мнѣ, я очень сочувствую вашей супружѣ,—но не можетъ же быть, чтобы мой другъ, уважаемый врачъ, подучалъ вашу кухарку итти съ жалобой къ мировому...

— Онъ. Онъ. Извините, онъ. Если не прямо, такъ косвенно. Этотъ духъ, кто его создалъ? „Прогрессивная“ интеллигенція,—вотъ кто! Да. Это она, она все. Она создала и социаль-демократію и революціонеровъ, и все... Это она посѣяла идеи о равенствѣ, о социализмѣ. Въ ней всѣ эти партіи. Да. Террориста или демократа я не боюсь. Мнѣ его вотъ онъ поймаешь,—генералъ кивнулъ на столпообразнаго жандарма,—и—того!

При этомъ онъ сдѣлалъ какое-то неопредѣленное движеніе рукой; смыслъ котораго былъ, впрочемъ, ясенъ.

— Но такихъ господъ, которые ничего не дѣлаютъ и только пользуются уваженіемъ--я боюсь... Помилуйте, почему я знаю? Она служить у стола, она стелетъ постель,—если у нея заведется въ мысляхъ... Нѣтъ, отъ прислуги не обережешься!.. А и безъ прислуги нельзя...

Сказавъ это, генералъ растерянно и недоумѣвающе посмотрѣлъ на меня.

— „Это, дѣйствительно, совсѣмъ сумасбродъ“,—подумалъ я и всталъ.

— Такъ вы никакъ не согласитесь на возвращеніе?

— Низ-за-что. Я не ручаюсь за спокойствіе губерніи. Низ-за-что!

Я былъ уже у дверей, когда генераль послалъ мнѣ послѣдній аргументъ.

— Слава Богу, я теперь хоть сплю спокойно.

Пріѣхавъ домой, я окинулъ мысленнымъ окомъ поле предстоящей битвы, и для меня стало очевиднымъ, что здѣсь, на мѣстѣ, надо дѣйствовать не на генерала, а на генеральшу. Но черезъ кого? Это мнѣ объяснили мѣстные люди.

— Поѣзжайте къ Ивану Ивановичу. Онъ славный малый. Кутните съ нимъ. Онъ настроитъ Джоржетку—пѣвичка здѣсь есть такая. А всего бы лучше, если бы онъ свезъ васъ къ ней. Ну, дальше, это отъ васъ будетъ зависѣть, чтобы понравиться и упросить ее взяться за дѣло. А у Джоржеты пріятель—адъютантъ, который вертитъ генеральшей. Все дѣло, слѣдовательно, въ томъ, чтобы Джоржета взялась.

Я былъ смущенъ. Въ мои годы! Но выручилъ меня одинъ знакомый, лихой кутила и добрый человѣкъ—помѣщикъ. Онъ взялъ пѣвичку на себя.

А я поѣхалъ въ Петербургъ.

Тамъ у меня есть одно знакомство... хвастаться имъ нельзя, но изъ пѣсни слова не выкинешь.

Лѣтъ 15 тому назадъ выгнали изъ одной гимназіи одного дѣйствительно сквернаго юношу, Піотровскаго, смазливаго, пронирыливаго и порочнаго. Безъ гроша денегъ пріѣхалъ онъ въ

Петербургъ и съ письмомъ своей матери явился къ моей теткѣ, съ просьбой помочь ему пристроиться.

У старушки были связи, и она устроила его управляющимъ домомъ одной великосвѣтской дамы, пожилой и некрасивой. Съ этого и пошло. Смазливый юноша „вышелъ въ люди“, приобрѣлъ знакомство въ свѣтѣ, и черезъ нѣсколько лѣтъ его квартира въ бель-этажѣ того же дома, управляющимъ котораго онъ когда-то былъ, стала мѣстомъ, куда по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ съѣзжалась вечерами знать. Здѣсь играли въ рулетку и во что угодно хорошенькія женщины *demi mond'a* и такіе тузы, доступъ къ которымъ для простыхъ смертныхъ болѣе чѣмъ затруднителенъ.

— Всѣ у меня въ кулакѣ!—говорилъ иногда въ добрую минуту Піотровскій своимъ друзьямъ.

Имѣя „всѣхъ“ въ кулакѣ, онъ сдѣлался частнымъ ходатаемъ и „проводилъ дѣла“. Зарабатывалъ онъ много, потому что „дѣла“ были серьезные, съ одной стороны пахнувшія милліонами, съ другой, при нормальномъ порядкѣ, тюрьмой.

Но разъ „всѣ“ въ кулакѣ, то тюрьма, конечно, исключается, а милліоны остаются.

— *Ma tante*, какимъ образомъ ворочаетъ онъ „ими“?

— Ахъ, это очень просто. Трудно было создать положеніе. Но разъ оно есть, — остальное ничего не стоитъ. Проиграется тамъ у него кто-нибудь, онъ денегъ предложитъ. Понравится ка-

кая-нибудь,—онъ и здѣсь поможетъ. Онъ имъ всѣмъ необходимъ, онъ ихъ фактотумъ,—ловкій, скромный и усердный. Конечно, и они ему платятъ услугой за услугу...

— Итакъ, тетушка, вы должны меня свести съ Піотровскимъ и приказать ему. Вон?

Когда я черезъ нѣсколько дней пришелъ къ старушкѣ, я уже засталъ „фактотума“. Еще не старый, полный блондинъ, съ томнымъ видомъ и женскими руками въ кольцахъ, лѣниво выслушалъ все, что ему рассказала моя тетка, и, обращаясь только къ ней, процѣдилъ сквозь зубы:

— При всемъ моемъ уваженіи къ вамъ,—я такихъ дѣлъ не беру.

Старуха закипѣла.

— Ты какія же дѣла берешь? только грязныя? только мошенническія? Стыдился бы говорить! Онъ такихъ дѣлъ не беретъ!! Ты пойми: я тебя позвала для того, чтобы ты хоть одно хорошее дѣло сдѣлалъ. Ради матери твоей позвала, чтобы ей не такъ стыдно за тебя было... Слушать ничего не хочу!—Хлопочи у твоихъ...

Ни одна жилка не дрогнула у Піотровскаго. Онъ только повернулся ко мнѣ и такъ же равнодушно, какъ и раньше, процѣдилъ:

— Хорошо. Пять тысячъ.

— Пять тысячъ? Разбойникъ! Дай ему сто рублей на извозчиковъ!

Піотровскій вдругъ всталъ и расхохотался. Потомъ быстро подошелъ, поцѣловалъ руку у тетушки и опять засмѣялся.

— Это напоминает мнѣ, какъ вы кричали на меня, когда я былъ мальчишкой. Извольте. Въ чемъ же дѣло? Вернуть и больше ничего?

— Ничего.

— Черезъ недѣлю будьте на приѣмѣ.

Черезъ недѣлю я былъ на приѣмѣ. Напрасно смотрѣлъ швейцаръ мнѣ въ руку. Тамъ не было зелененькой бумажки.

И „Анна“ напрасно выбѣгала въ коридоръ. Я не пошелъ туда. Я при всѣхъ просителяхъ подалъ свою карточку и сказалъ:

— Доложите, его превосходительство меня ждетъ.

Черезъ 10 минутъ я сидѣлъ въ большомъ прекрасномъ кабинетѣ, и его превосходительство, складывая громадныя челюсти гіены въ нѣчто, подобное улыбкѣ, и играя живыми и умными теперь глазами, говорилъ мнѣ:

— Душевно радъ, что могу обрадовать васъ пріятными вѣстями. Мы получили лучшіе отзывы и съ мѣстъ, и по счастливому случаю, здѣсь, частнымъ порядкомъ. Вашъ родственникъ возвращенъ. Это для васъ рождественскій подарокъ. Надѣюсь,—онъ не заставитъ насъ раскаиваться въ сдѣланномъ ему снисхожденіи...

А прощаясь, его превосходительство пожалъ мнѣ руку и сказалъ:

— Мой привѣтъ Витольду Антоновичу.

Мнѣ даже показалось, что онъ мнѣ сдѣлалъ какой-то франкъ-масонскій знакъ.

Я вышелъ на улицу и пошелъ пѣшкомъ съ чувствомъ молодости во всемъ тѣлѣ. Такъ всегда

бываетъ послѣ удачи. Солнце свѣтило и крохотныя снѣжинки, носившіяся въ воздухѣ, сверкали какъ алмазы.

— Хорошо!

Я иду тихонько и наслаждаюсь и уличнымъ шумомъ и предпраздничной толкотней. У Гостиного ряда толпы веселыхъ фланеровъ и хлопотливыхъ хозяекъ, закупающихъ припасы на Рождество и подарки дѣтямъ. Среди улицы тихо движется фургонъ съ однимъ маленькимъ рѣшетчатымъ окошечкомъ назади и городовымъ съ голой шашкой на запяткахъ.

Я смотрю на толпу, смотрю на фургонъ, и въ головѣ несутся обрывки мыслей:

...„Если бы ихъ свести съ Піотровскимъ, вѣроятно, не разъѣзжали бы въ этой конурѣ... А скверно, должно быть, сидѣть праздниками за рѣшеткой“...

Но волна печальныхъ образовъ скоро проносится мимо, и въ сознаніи громче, чѣмъ прежде, бьется мысль.

„А я—съ рождественскимъ подаркомъ“!

Хорошая страна. Славная генеральша. Прелестная Джоржета. Милый Піотровскій. А его превосходительство?!

Счастливая родина!

Новые люди.

Я немного зналъ лѣтъ двадцать тому назадъ одного — очень извѣстнаго теперь общественнаго дѣятеля и помню его слова: „Вся бѣда въ томъ, что у насъ интеллигентный слой тонокъ, какъ листъ бумаги, положенной на землю. Оттого и могутъ у насъ дѣлать все, что хотятъ. Оттого хоть кричи, хоть плачь, — ни откуда нѣтъ отклика“.

Эти слова служили мнѣ большимъ утѣшеніемъ потомъ, когда пришлось жить въ Верхоянскѣ. Вzlѣзешь на крышу юрты, чтобы закрыть мѣшкомъ съ золою на ночь трубу отъ камелька, и смотришь кругомъ. Надъ тобой громадное, безмолвное небо; на немъ молчаливыя, далекія звѣзды. Вокругъ — рѣдкія и голыя лиственницы, и на горизонтѣ тяжелыя и тоже голыя горы. И — ни звука! Стоишь и ищешь хоть крика птицы, хоть лая собаки. Но звѣри и люди разсѣяны такъ рѣдко по безграничному простору замерзшей земли, что если и можно что-нибудь услышать, то только особый звонъ мерзнущаго пара дыханія. Въ такія минуты я съ злымъ удовольствіемъ думалъ, обращаясь къ далекому и милому западу: „Не мы одни. Вы тоже можете хоть кричать, хоть плакать, — и все потонетъ въ черной и бездонной пустотѣ“.

Это называется счастьемъ раздѣленнаго горя.

Долженъ сознаться, что моя злость, какъ и горе, были мало разумны, и изобличали только разстроенные нервы и недостатокъ терпѣнія. Въ мертвомъ мракѣ долгой ночи росли и крѣпли новыя силы, и, вернувшись къ пенатамъ, я увидѣлъ, что недавняя пустыня стала жилищемъ воскресшихъ старыхъ боговъ и живыхъ новыхъ людей.

Мое знакомство съ ними началось съ перваго же случайнаго посѣщенія булочной, и „новымъ человѣкомъ“ оказался „молодецъ“, отпускавшій хлѣбъ. По правдѣ сказать, я отъ юности съ опаской гляжу на московскихъ кудрявыхъ молодцовъ. И какъ же иначе? Ихъ гомерическіе кулаки такъ весело гуляли по моей спинѣ, когда я двадцать семь лѣтъ тому назадъ рѣшился въ первый разъ на публичное оказательство моихъ вольнолюбивыхъ убѣжденій! Я былъ тогда студентомъ въ Москвѣ. Наша компанія узнала, что черезъ Москву должны везти нашихъ товарищей, кіевскихъ студентовъ, ссылаемыхъ за студенческую исторію на Дальній Сѣверъ.

Встрѣтить и проводить!

Сказано,—сдѣлано. Человѣкъ 50—60 студентовъ разныхъ учебныхъ заведеній собралось на курскомъ вокзалѣ, и, когда нашихъ товарищей посадили въ кареты и шагомъ повезли черезъ всю Москву на Колымажный дворъ,—мы, окруживъ кареты, отправились процессіей за ними.

По дорогѣ приставали прохожіе, любопытные спрашивали въ чемъ дѣло; мы объясняли, и

толпа росла. Въ Охотный рядъ процессія втянулась въ числѣ, быть можетъ, тысячи человекъ.

До сихъ поръ все шло мирно; но Охотный рядъ намъ приготовилъ встрѣчу. Кто пустилъ молву, которая оползла всѣ лавки и лабазы, — я не знаю. Но весь Охотный рядъ зналъ, что это везутъ бунтовщиковъ-поляковъ и что студенты — за поляковъ.

Можетъ ли Москва допустить что-либо подобное?

И вотъ, когда мы торжественно входили въ Охотный, — а шли мы именно торжественно, потому что думали наивно, что совершали нашъ гражданскій долгъ, — „молодцы“ изъ мясныхъ и рыбныхъ, изъ булочныхъ и квасныхъ засучили рукава, расправили могучія плѣчи, выпучили по-бараньи глаза и ринулись на насъ.

А на порогахъ лавокъ стояли толстые бородачи, и гоготали:

— О-го-го-го! У-лю-лю! Такъ ихъ!

Къ сожалѣнію, я лишенъ дара батальнаго живописца, и потому, хотя желалъ бы, не могу нарисовать достойнымъ образомъ картины славнаго боя. И не бардъ я, и потому не могу воспѣть героевъ и размашистыя движенія ихъ кулаковъ. Мѣшаетъ мнѣ и то, что я, какъ и большинство вольнолюбивыхъ студіозовъ, послѣ перваго натиска геровъ бѣжалъ съ поля битвы. Я и двое моихъ товарищей ворвались въ первую попавшую дверь и влѣзли въ какую-то квартиру, въ которой молодая дама примѣряла передъ зеркаломъ новое платье. Мы растерялись и не знали

что намъ дѣлать. Но дама,—она оказалась французенкой,—расхохоталась и упорхнула, а супругъ ея подвелъ насъ къ окну и, вспомнивъ съ нами великія и малыя революціи своей родины, выпустилъ насъ тихонько потомъ съ задняго крыльца въ переулокъ. Все-таки мы видѣли достаточно, чтобы засвидѣтельствовать, что „молодцы“ засучили рукава не даромъ и что множество проходящихъ, и стариковъ и женщинъ, узнали „силу русской длани“.

Съ тѣхъ поръ я всегда съ почтительной опаской смотрѣлъ на толсторожихъ кудрявыхъ молодыхъ богатырей изъ овощныхъ и на почтенныхъ въ бородачей въ бѣлыхъ передникахъ изъ булочныхъ.

И вотъ вхожу я въ булочную передъ Пасхой и вижу пустыя полки, и передъ кассой кудахтающую даму:

— Это безсовѣстно!—кричитъ она.—Это Богъ знаетъ что! Чтобы были мои куличи! Забастовщики!! Передъ Пасхой?!..

А молодой кудрявый молодецъ стоитъ за кассой и любезно уговариваетъ даму:

— Напрасно изволите серчать, сударыня. Тутъ виноватыхъ нѣтъ-съ. Вамъ передъ Пасхой желательно куличи; а намъ желательно, чтобы въ насъ признавали личность...

Мы разговорились съ нимъ потомъ.

— Видите, господинъ,—говорилъ онъ мнѣ,—мы просили у хозяевъ малаго, но они намъ отказали, потому что привыкли относиться къ намъ безъ вниманія. И правы-съ! Потому за тычками

мы не гонимся, брань на вороту у насъ тоже не виснетъ, спать куда ни положи, хоть въ сорный уголь,—спимъ. Чего съ нами въ такомъ случаѣ церемониться? Но это прошло. Въ насъ теперь есть сознаніе, что и мы—личность. И потому мы не можемъ допустить. Не дали малаго, когда просили,—теперь мы и рубля не возьмемъ съ.

— Скажите, —спрашиваю его я,—вѣдь васъ и десять лѣтъ, и годъ тому назадъ клали спастъ и на лари, и подъ лавки; такъ же ругали и мало уважали. Почему же вы до сихъ поръ всегда молчали, а теперь вдругъ заговорили и не только о матеріальной сторонѣ вашего положенія, но и о томъ, что вы вотъ—„личность“?...

— Какъ вамъ сказать? Конечно, темнота и глупость. Это—первое. Но главное въ томъ, что никто не видалъ выхода. Жить было всегда тяжело, но никто не видалъ возможности. А теперь видимъ,—говори смѣло, и соблюдай свою личность! Человѣкъ—не скотина. Ему даны слова и разумъ, и нечего насъ по 16-ти часовъ морить и въ грязи держать. Вы посмотрите—всюду волненіе, всѣ это поняли,—а почему? Не знаю. Но это вы вѣрно: годъ тому назадъ не то-что око-лѣдочнаго, а всякой собаки боялись. А теперь, къ примѣру, можетъ-быть, вы и генераль какойнибудь, намъ это неизвѣстно, но, и все равно. Вы—генераль, а я говорю все какъ есть, и правъ-съ, потому что такой же человѣкъ, какъ вы. Дама вотъ была, сердилась... вѣдь понапрасну-съ; видимо, ничего окромя своего кулича не понимаетъ. А я—рабочій, и понимаю, что куличъ—

дѣло пустое, а положеніе рабочаго класса, это—серьезное дѣло, да!

Онъ еще долго и много рассказывалъ мнѣ о стачкѣ булочниковъ и раскрывалъ мнѣ все шире дверь къ пониманію „новаго человѣка“. Тамъ, гдѣ матеріальное положеніе такъ убого, какъ у современнаго рабочаго, тамъ чисто матеріальныя требованія не могутъ не играть превалирующей роли, потому что отъ нихъ зависитъ и ростъ личности. Но въ аргументаціи его они отступали на задній планъ; впередъ же выступали запросы человѣка, сознающаго себя сотвореннымъ по образу Божію. Онъ, этотъ пробудившійся новый человѣкъ, стоитъ въ началѣ пути, который приведетъ его къ полнотѣ бытія, къ жизни, размаха и красоты которой мы, дѣти отживающаго безправія, достигнуть не сумѣли бы. Въ его борьбѣ за хлѣбъ и за отдыхъ будутъ побѣды и пораженія; какъ волны моря, поднимаясь и опускаясь, будетъ колебаться жизнь. Но новый человѣкъ съ его новымъ человѣческимъ достоинствомъ и безграничными запросами будетъ безостановочно расти въ побѣдахъ и пораженіяхъ и создавать новую лучшую жизнь. И многое, что кажется допустимымъ намъ, окажется для него невозможнымъ. Что же именно? На этотъ вопросъ отвѣтилъ мнѣ Николай Ивановичъ.

Каждое утро, съ переѣзда моего на дачу, я слышу сначала залиvistый голосъ, распѣвающий:

— Шекладъ, мармеладъ, сахарное печенье!
Затѣмъ подь окномъ идетъ бесѣда между мо-

ей маленькой дочуркой и владѣльцемъ сластей и пирожныхъ, и, наконецъ, отъ меня требуется пятачекъ. При этихъ условіяхъ знакомство съ Николаемъ Ивановичемъ стало неизбѣжнымъ...

Николай Ивановичъ по ремеслу—шорникъ. Но у него слабая грудь и онъ съ трудомъ переноситъ сидячую жизнь, неизбѣжную при его работѣ. Поэтому артель даетъ ему ежегодно двухмѣсячный отпускъ, во время котораго онъ „для моціону и свѣжаго воздуху“, ходитъ по дачамъ и торгуетъ мармеладомъ и печеньемъ. Онъ высококачественнаго мнѣнія о себѣ, но еще болѣе высококачественнаго о своей артели. По его словамъ, шорники иначе какъ артелями не работаютъ; артели же связаны въ союзъ. Николай Ивановичъ считаетъ 26,000 организованныхъ и принимающихъ участіе въ союзѣ рабочихъ шорнаго ремесла. Союзъ умѣло и энергично поддерживаетъ своихъ членовъ, сумѣлъ добиться для нихъ недурныхъ матеріальныхъ условій, и, чувствуя за собой его силу, Николай Ивановичъ держитъ себя съ людьми съ большимъ достоинствомъ и независимо. Въ то же время къ рабочимъ другихъ профессій, особенно къ рабочимъ неорганизованнымъ, онъ относится часто со смѣсью сожалѣнія и пренебреженія.

Помилуйте, глупые люди и больше ничего. Устроить себя не могутъ и пребываютъ въ рабствѣ. А когда не въ терпежъ станетъ, то производятъ забастовку, можно сказать, вполне дикую: съ буйствомъ, иногда съ поломомъ машинъ или порчей матеріала. Развѣ это возможно? Мы,

шорники, поэтому съ ними не любимъ вязаться. Мы—особенно. Вотъ, къ примѣру, работала наша артель на фабрикѣ обмундировальныхъ принадлежностей для военнаго вѣдомства. Хорошо. Взяли заказъ, работаемъ въ особой мастерской, сидимъ, шьемъ, молотками постукиваемъ, и приходитъ пора покурить. Сейчасъ староста постучить ножомъ или молоточкомъ,—мы работу по боку, и за трубочки. Тутъ хоть директоръ самъ приходи;—поздороваемся и опять закуримъ. Потому сдѣльно. Отлично работаемъ. Да. Но выдали намъ для работы никуда негодный матеріалъ: что кожа, что нитки—гниль. Извѣстное дѣло—казна! Мы вполне понимаемъ, почему на Дальнемъ Востокѣ пораженія и вовсе нѣтъ побѣды. Что кожи, что обмундированіе или провіантъ, или воинскій припасъ,—все это къ одному, одного сорта,—иначе и быть не можетъ. А ежели все гнило или все въ безпорядкѣ, можетъ ли быть побѣда? Ну, хорошо,—шьемъ и видимъ, что толку нѣтъ: первое—вещь никуда негодная выходитъ, второе—задержка въ работѣ: нитку потяни—порвется, дратвой стежокъ возьмешь потуже—кожа врозь лѣзетъ. Подумали, поговорили, староста и заявляетъ директору о гниломъ товарѣ-съ.

— Не твое дѣло!

Только и отвѣту-съ.

— Помилуйте, какъ же не наше дѣло? Если бы не наше было, мы и молчали бы!

Сейчасъ обсудили и директору заявленіе: „по случаю“ гнилого матеріала и невыгодной

работы просимъ прибавить по 2 руб. на сотню сумокъ,—разъ; замѣнить товаръ доброкачественнымъ и къ работѣ годнымъ,—два; до исполненія просьбы отъ работы отказываемся,—три. Стачка-сь! Но только стачку надо дѣлать умно, съ гарантіей. Поэтому мы въ главное интендантское управленіе о гниломъ товарѣ—тоже заявленіе, и въ военное министерство—о томъ же. И въ союзъ послали своего человѣка. Хорошо. Но этого мало. Могутъ разсчитать, хоть и не найдутъ ни одной артели на наше мѣсто, потому что ни одна артель противъ своихъ не пойдетъ; но разсчитать могутъ. Мало ли заводовъ теперь стоитъ? Поэтому сейчасъ послали своего человѣка въ Германію. Мы здѣсь бастуемъ, а онъ въ Кенигсбергъ подрядъ беретъ тоже на военное вѣдомство, потому что лучше русскаго шорника нигдѣ нѣтъ, и нами всюду дорожатъ. Нѣмецъ—онъ одной рукой шьетъ, а мы—въ двѣ руки. У насъ и крѣпость другая, и строчка на обѣ стороны.

Ну, хорошо. Приѣхалъ къ намъ генералъ. Первымъ дѣломъ—кричать! Мы ему и говоримъ:

— Ваше превосходительство! Съ крика толку не будетъ, а вы извольте посмотрѣть сами кожѹ. Ну, и все прочее ему объяснили и про Германію сказали... Посмотрѣлъ, поворчалъ, но по нашему все сдѣлалъ. А черезъ недѣлю и вся фабрика стала: шумъ, крикъ, окна побили, — и все безъ толку. Потому безъ организаціи, одна глупость...

Столько самодовольства можетъ быть только

у человѣка, празднующаго медовый мѣсяцъ своего успѣха. Но скоро мнѣ пришлось увидѣть Николая Ивановича, поставленнаго лицомъ къ лицу съ суровой жизненной драмой, и тогда-то я понялъ, что имѣю дѣло не съ филистеромъ изъ рабочей среды, а съ „новымъ человѣкомъ“.

Разъ, позднимъ юньскимъ вечеромъ, Николай Ивановичъ зашелъ ко мнѣ безъ обычнаго лотка со сладостями, хмурый и разстроенный.

— Пришелъ попрощаться къ вамъ. Хожу, долги собираю; вотъ и подумалъ: дай, зайду, попрощаюсь, а можетъ, и совѣтъ получу.

— Вы куда же и почему?

— На службу-съ, мобилизація! Конечно, тяжело; но бѣда не въ томъ. Въ томъ бѣда, что назначеніе получилъ не въ дѣйствующую армію. Я бы туда со всей охотой, но не выходитъ дѣло: въ Варшаву назначень...

Я удивился. Казалось бы, что въ казармахъ и спокойнѣе, и удобнѣе, чѣмъ подъ японскими шимозами. Я это ему и сказалъ.

— Ахъ, господинъ! Японецъ — чужой намъ человѣкъ, врагъ... Тамъ кто въ войнѣ виноватъ, — все равно; но отечество защищать — для всякаго обязанность... а здѣсь вѣдь на своихъ пойдешь... Это видимо, что на своихъ...

— Вы извольте посмотрѣть, — продолжалъ онъ помолчавъ и подумавъ, — вонъ она фабрика!

Передъ нами вдали сіялъ огнями городъ и двумя яркими пятнами горѣли, точно иллюминированные, фабричныя многоэтажныя корпуса.

— Отсюда глядѣть, — красота! А поживи-ка въ ней, поработай! Тягостно жить рабочему человѣку, и иногда невозможно терпѣть, особливо въ настоящее время. Вѣдь это всѣмъ видимо, что все шатается... Стѣны хоть и крѣпки, но столбы сгнили, и въ такомъ дому жить невозможно. Это и черный народъ понимаетъ; но, какъ исправить, это никому неизвѣстно! Въ такомъ положеніи можно ли взыскивать съ темнаго человѣка, если онъ неладно сдѣлаетъ? Однако взыскиваютъ и разговоръ коротокъ: „Рота пли!“ Вотъ и я на это самое иду...

— Я эту Польшу знаю, работалъ тамъ. У насъ тѣсно, а тамъ и того болѣ... Дѣвченки всѣ съ младыхъ лѣтъ на фабрикахъ; жидки эти — худые, голодные... Половина народу безъ земли живетъ, я такъ полагаю...

— Ну, слушайте, — говорю я, — вѣдь это же не основаніе бунтовать. Въ Западной Европѣ три четверти населенія живетъ наемной работой...

— Развѣ можно сравнить, помилуйте! Я самъ въ Германіи бывалъ. Тамъ рабочій свое отработалъ, надѣлъ пиджакъ и шляпу и пошелъ въ пивную, или въ театръ, или въ свое собраніе. Никакого сравненія... Но и тамъ достигаютъ и добиваются улучшенія. А у насъ я — просто тля, вошь, а не человѣкъ-съ. И всякій раздавить можетъ... Страшно въ этакое дѣлѣ участіе имѣть, — душа не позволяетъ!

Помолчали, но скоро Николай Ивановичъ опять вернулся къ темѣ, видимо, захватившей его мысль.

— Для васъ, со стороны, а тѣмъ болѣе для начальства, это, дѣйствительно, — дерзость и бунтъ, и болѣе ничего. Но я такъ не могу судить, потому что знаю и всю нужду и всѣ обстоятельства рабочаго народа. И вотъ онъ пойдетъ заявлять свои права, а я ему штыкъ въ брюхо и кишки выпущу? Какъ же это возможно?...

— Что же вы думаете дѣлать однако?

— Я, признаться, думалъ отъ васъ правильный совѣтъ получить.

— Какой же совѣтъ? Заболѣть, что ли? Я думаю, вамъ бы надо заболѣть какъ-нибудь...

— Это, значить, пускай другіе-прочіе дѣйствуютъ, а наша хата съ краю?

— Да что же можно еще сдѣлать?

— Те-екъ-съ! — протянулъ онъ. И, быстро сорвавшись съ мѣста, онъ сухо кивнулъ мнѣ головой и пошелъ.

— Николай Ивановичъ, куда вы?

— Прощанья просимъ, — услышалъ я уже изъ за кустовъ.

Видимо, старая мораль не пришлась по вкусу новому человѣку.

Б а б ы.

(Сельская идилія).

Сѣрая, пыльная дорога змѣєю вьется и остро-рожными изгибами пробирается среди овсяныхъ и ржаныхъ полей; иногда къ ней надвигается стѣною темный еловый лѣсъ, иногда плакучія березы перевѣшиваются чрезъ нее свои тонкія, длинныя вѣтви. Тихо и пустынно. Лишь изрѣдка тамъ и сямъ, изъ-за перелѣска выглядываютъ соломенные деревнюшки, и смотрятъ на дорогу и на идущихъ по ней бабъ подслѣповатыми глазами покосившихся, черныхъ избъ.

Впереди съ тонкой длинной палкой въ рукѣ идетъ старая Кандубиха, старая, сморщенная, какъ грибокъ, обезьяна. Можно долго смотрѣть ей въ лицо и пытливо искать выраженія горя, радости или гнѣва въ окаменѣвшей сѣти морщинъ, окружающихъ громадный ротъ и маленькіе выцвѣтшіе глазки, — и не найти. Но стоитъ взглянуть на сморщенную высохшую шею, горбомъ согнувшуюся спину и голыя узловатыя ступни, которыми она шлепаетъ по придорожной пыли, — чтобы стыдливо, съ чувствомъ виноватаго безпокойства, отвести отъ нея глаза. Зачѣмъ смотрѣть на изуродованнаго человѣка?

Три молодыя бабы гуськомъ идутъ за ней, — какъ пилигримы. У всѣхъ низко спущенные на

глаза бѣлые платки на головахъ, бѣлая свиты и рубахи, и босыя ноги...

Кандибуха ведетъ свою армію съ ранняго утра по надоѣвшей всѣмъ имъ дорогѣ. Который разъ приходится имъ мѣрять ее утомленными ногами?

— Годи! Поснѣдаемъ...—говоритъ она хриплымъ бабьимъ басомъ, и садится на край дороги, спустивъ ноги въ придорожную канаву.

— А и притомилася же я, таички. вы мои... Чи-жь буде ёнъ дома гэтый разъ?...

Но ей никто не отвѣчаетъ. И кто можетъ знать, будетъ ли „онъ“ дома? Развѣ у него мало лошадей и разныхъ господскихъ „дѣлъ“?

Поэтому бабы жуютъ свой хлѣбъ и молчатъ. Но думаютъ. И общій итогъ этихъ мыслей выражаетъ, наконецъ, самая юная изъ нихъ словами:

— А кали-бъ яго палярусъ задавилъ!

По дорогѣ, скрипя колесами, тащится возъ и останавливается около бабъ.

— Добры-день! Зъ-далека?

— Добры-день вамъ... А якъ же не зъ-далека? Съ подъ самой Ворши...

— Куды Богъ нясе?

— А до пана, до зельскаго,—по гроши, по солдатски гроши... Чи ня вѣдаете вы, чи дома ёнъ, тый зельскій? Шостый разъ ходимъ: передъ Паской были, и на Паску были, и на Родительску, и на Миколу—усе нима дома... И гдѣ яго лихо носе!? А у волости кажутъ: покуль отъ яго бумага ня прійде, чи сѣмъ ня буде—гроши не

дадимъ... А хлѣба нима, а жить-жа треба; Бож-жа—ты мой!..

И такой безпомощностью вѣетъ отъ этихъ убогихъ жалобъ, что тотъ, кто лежитъ на возу, долго молчитъ и смотритъ куда-то вдаль, прежде чѣмъ рѣшится отвѣтить:

— Казали,—нима его у дворѣ.

— Што жъ намъ тяперича дѣлать! Аа-бо!..

Но Кандубиха кряхтя встаетъ, и рѣшительно заявляетъ:

— Пойдемъ! Семей разъ ходить ня буду.

Анна Ивановна сидитъ на балконѣ и смотритъ усталыми глазами стараго человѣка на далекій лѣсъ, и на широкия поля, подернутыя легкой вечерней мглой. На небѣ гаснутъ янтарныя и розовыя тѣни на перламутровыхъ облакахъ. Земля дышитъ снѣлой рожью, запахомъ цвѣтовъ, тепломъ и прохладой вмѣстѣ. И отдыхаетъ.

Отдыхаетъ и Анна Ивановна отъ трудовъ цѣлаго дня. Цѣлый день жарилась она у жаровень, наварила цѣлый пудъ варенья, навоевалась вдосталь съ Палашкой. И теперь, отдыхая, она переживаетъ вновь перипетіи оконченной битвы, и дѣлится ощущеніемъ съ дочкой, Соней.

— Такая дрянная дѣвчонка!.. Я ей говорю: трясина кругами, чтобы пѣну собрать къ срединѣ, а она... Такая капцанка такая капцанка...

— Зновъ ты бабы пришли къ пану,—докладываетъ капцанка, вынырнувшая изъ-за кустовъ жасмина.

— Какія бабы?

— А запасныя. Кажуть,—за грошами. Зъ-подъ самой Ворши.

— Ахъ, Боже мой! Какія надоѣдныя! Соня, скажи имъ,—пойди, Сонюшка,—что папа самъ прїѣдетъ къ нимъ... Пусть уходятъ. Ты это умѣешь...

И въ голосъ Анны Ивановны слышится досада непріятно потревоженного человѣка, и нѣкоторый испугъ, испугъ передъ назойливо вторгающейся грубой жизнью.

Но Кандубиха не даромъ сорокъ лѣтъ служила по фольваркамъ. Она знаетъ, какъ и гдѣ „отдыхаютъ“ господа, и гдѣ ихъ нужно ловить.

И не успѣла расторопная Соня принять свои мѣры,—а она стоитъ уже среди благоуханнаго цвѣтника, какъ воплощеніе безобразной, унижительной и вмѣстѣ грозной нищеты... Стоитъ съ своими спутницами, и голосомъ глухимъ и скрипучимъ спрашиваетъ:

— Мы до пана... Чи найдется ёнъ коли-нибудь, чи намъ у губернію итти жалиться?

— Папы нѣтъ дома,—бойко отвѣчаетъ Соня.— Притомъ онъ велѣлъ вамъ не ходить сюда и не беспокоить его. Сидите дома и ждите; онъ самъ прїѣдетъ, провѣритъ списки, и деньги выдадутъ вамъ въ волости.

Соня очень рада, что умѣетъ говорить „фловымъ“ языкомъ, и знаетъ „порядки“. Отецъ за это постоянно ее хвалить.

— Былъ бы губернаторомъ,—назначилъ бы тебя земскимъ начальникомъ,—говоритъ онъ.

— А Боже-жъ мой! А якъ же намъ ждять, папеночка, коли у дворѣ а ни синь пороха... Шостый разъ ходимъ...—со слезами въ голосъ причитаеть одна изъ женщинъ..

— Вотъ и напрасно ходите,—бойко парируетъ Соня.—Вѣдь вамъ велѣли ждять?.. Какія безтолковыя!

— Вялѣли! Вялѣли!.. А чи вамъ вялѣли людей дарма мордувать? Гдѣ жъ гѣто видано! Люди добрые, побочайте-жъ вы на гѣто! Побочайте жъ на сиротски слезы! Ходимъ-просимъ, ходимъ-просимъ, свои гроши шукаемъ! А ѣнъ ни самъ ня ѣдить, ни у дворѣ яго не знайти. Не даеть намъ нашихъ грошей законныхъ... Чи жъ у васъ совѣсти нима? Чи на васъ закону нима? Чи намъ съ сиротами помирать треба? Чи—жъ есть у васъ Богъ на небѣ?..

Голосъ старой Кундубихи растеть, и ея грозныя причитанія несутся и разливаются въ вечернемъ воздухѣ, наполняя собой тишину,—и согнутое тѣло ея выпрямляется, и стоитъ она большая и страшная, махая сухими длинными руками, точно накликаая несчастье на этихъ сытыхъ людей, у которыхъ „нѣтъ Бога на небѣ“...

— Какъ ты смѣешь шумѣть здѣсь!—кричить Соня.—Я за урядникомъ пошлю!

— Соня, Соничка! Успокойся, дружокъ мой—умоляюще говоритъ Анна Ивановна.

— Мама, не беспокойтесь! Сейчасъ ступайте вонъ отсюда! Слышали!—И молодой голосъ молоденькой дѣвочки звучитъ задорной угрозой.

Но старуха, должно-быть, даже не слышитъ ее. Что ей эта маленькая, крикливая дѣвочка, ей, говорящей теперь съ тѣмъ собирательнымъ цѣлымъ, которое превратило всю ея жизнь въ цѣпь черныхъ дней, полныхъ каторжнаго и унижительнаго труда „паньской наймитки“? Къ нему обращаются ея, всегда подслѣповатые, теперь горящіе застарѣлой ненавистью глаза, къ нему протягиваетъ она свои корявыя руки, и кричитъ, надрываясь:

— Хай же й вамъ тое буде, штой мы отъ васъ бачили! Хай же й на ваши слезы посмѣются люди! Хай...

Давно уже ушли эти бабы, а Анна Ивановна все не можетъ отдѣлаться отъ жуткаго волненія.

— Не люблю я, Соничка, теперешняго времени... Всѣ недовольные, всѣ наглые, все чего то отъ насъ требуютъ... Совсѣмъ не такъ было прежде.

И начинается въ сотый разъ рассказывать, про хорошее старое время, когда она была молоденькой дѣвушкой, и все было такъ спокойно, и такъ удобно, а губернаторомъ былъ Дунинъ-Борковскій, и они выѣзжали, и Андрей Петровичъ былъ самымъ веселымъ и милымъ кавалеромъ и т. д. и т. д.

Не даромъ Анна Ивановна не любитъ настоящаго. Оно грозно, печально и полно опасностей. Ночь давно спустилась на землю,—и съ ней тишина и покой. Но ухо старой женщины ловить въ этой тишинѣ тревожные звуки, и мысль говорить ей, что призраченъ этотъ покой.

Тамъ, гдѣ то, во мракѣ, можетъ быть въ ихъ собственной людской, спать теперь эти женщины послѣ далекой дороги, съ обидой въ сердцѣ, съ мыслями, пропитанными ненавистью... А передъ сномъ онѣ долго говорили, и жаловались, и кляли; а „люди“ слушали ихъ, и сочувственно кивали головами, вмѣстѣ съ ними негодовали, и издѣвались, и проклинали.

Конечно, Андрей Петровичъ неправъ. Она давно говорила ему, чтобы онъ съѣздилъ наконецъ и разсмотрѣлъ, и утвердилъ эти списки. Но онъ всегда былъ лѣнивъ, а теперь и боленъ. И далеко: сорокъ верстъ! И безъ того совсѣмъ нѣтъ покоя. И Аннѣ Ивановнѣ становится жалко мужа, и совсѣмъ не жалко этихъ бабъ, которыя привыкли ходить и стали такъ безцеремонны.

— Пусть же и надъ вашими слезами посмѣются такъ же люди!—вспоминаетъ она.

Но развѣ они смѣются? Развѣ для того, чтобы смѣбтся, Андрей Петровичъ...

— Ахъ, развѣ можно спокойно спать, когда кругомъ злора и недовольство? Совсѣмъ, совсѣмъ не такъ было когда-то...

— Я и не зналъ, что ты такъ подла.

Это говоритъ Сережа, длинный, нескладный гимназистъ, своей сестрѣ Сонѣ. Онъ сидитъ на подоконникѣ, спустилъ ноги въ садъ, и курить папиросу за папирсой.

— Какъ ты смѣешь употреблять такія слова?!

— А это развѣ не подлость—кричать такъ на старуху? Все порядокъ наводишь? Городовой въ юбкѣ!

— Пожалуйста, уходи отсюда! Ты скверный мальчишка. Что жъ, мнѣ позволить имъ разливаться и браниться при мамѣ?

— Да вѣдь онѣ правы. Правы, пойми ты. И виноваты мы; виновать отецъ.

— Пожалуйста не суди отца!

— А тебя буду, и имѣю право, и ухожу, чтобъ не быть съ тобою.

— Сережа!

Но онъ уже слѣзъ и уходитъ, и кричитъ ей:

— Стыдно съ вами!

— Сережа!

Соня высовывается въ окно, но брата нѣтъ. Изъ сада несется густой и нѣжный запахъ никотіанъ; звѣзды восторженно горятъ на черномъ, прекрасномъ небѣ; но дѣвочка не слышитъ запаховъ и не видитъ звѣздъ. Она лежитъ на окнѣ и горько плачетъ, закусивъ платокъ зубами, быть можетъ, отъ обиды, или отъ злости, а, быть можетъ, и отъ стыда.

Зачѣмъ и для чего вылѣчили врачи мукденскаго госпиталя Ивана Хомца, — это извѣстно одному Богу. Конечно, ему лучше было умереть, чѣмъ жить съ отрѣзанными руками и ногами. Но ему отрѣзали ноги почти у самаго тупловища, отрѣзали одну руку у плеча, другую у локтя, залѣчили и эвакуировали въ Россію. Для этого обрубленное тѣло положили, подставлявъ соломы, въ большую корзину, закрыли старымъ полотнищемъ отъ палатки и поставили въ вагонъ.

Сорокъ дней ѣхала корзина до Омска; сорокъ дней обрубокъ человѣка трясся и толкался головой и отрѣзанными концами тѣла о ея бока, ѣлъ, когда давали товарищи, пилъ, когда ему приносили воду, и портилъ подстилку до тѣхъ поръ, пока не заражалъ того угла, гдѣ стояла его корзина. Его жалѣли, объ немъ заботились товарищи-калѣки, фельдшеръ промывалъ водкой съ водой образовавшіяся пролежни, — тѣмъ не менѣе до Омска доѣхалъ не обрубленный человѣкъ, а гніющій кусокъ мяса.

Въ Омскѣ госпиталь опять поправилъ немного Хомца, и онъ поѣхалъ снова въ своей корзинѣ, — теперь уже на родину. И опять на немъ не было живого мѣста, и опять къ его плетенкѣ нельзя было подойти безъ тошноты, когда вагонъ остановился у платформы, на которой Хомецъ слѣзъ бы, если бы у него были ноги. Но ногъ не было; товарищи, обрадованные близостью дома, снесли корзину на перронъ и забыли; и вонючая корзина, закрытая дырявымъ рядомъ,

цѣлый день стояла въ углу желѣзнодорожнаго навѣса. Вечеромъ къ ней подошелъ сторожъ и заглянулъ въ нее, свѣтя кровавымъ глазомъ своего фонаря; зажавъ носъ, онъ долго стоялъ и смотрѣлъ на безобразную и безчувственную массу, валявшуюся въ ней, на запухшее, посинѣвшее подобіе лица, и на солдатскій погонъ, болтавшійся на плечѣ желто-песочной рубахи. Потомъ, крестясь и бормоча, сторожъ заковылялъ къ помощнику, потомъ къ жандарму,—и у корзины скоро собралась молчаливая и растерянная толпа. Стоялъ громадный, скотоподобный жандармъ, и по его веснушчатому лицу и великолѣпнымъ усамъ одна за другой бѣжали крупныя капли слезъ. Стоялъ крикливый и злой помощникъ начальника станціи, и все его худое и зеленое лицо нервно дергалось и прыгало, какъ отъ нестерпимой внутренней боли. Стрѣлочникъ Лука снялъ шапку и торопливо крестился. Изъ корзины въ это время несли глухой, прерывистый и тихій вой, и тяжелая темная масса шевелилась въ ней и вздрагивала.

— Что же дѣлать?

Одинъ задалъ вопросъ, и ни одинъ не умѣлъ отвѣтить. Долго и въ пустую толковали они, и кончили тѣмъ, что взвалили корзину на извозчика и повезли въ лазаретъ. Была ночь. При человѣческомъ обрубкѣ не было бумагъ; и фельдшеръ долго отказывался принять корзину и разбудить доктора. А то, что лежало, опять почти бездыханное, на вонючей соломѣ,—все-таки было живо, и голодное, непоенное, истомившееся въ

пути, сожженное солнцемъ за день стоянья на желѣзнодорожной платформѣ, кровоточащее всѣми ужасными отрѣзами,—все еще не хотѣло умирать. И опять дождалось того, что корзину поставили теперь на крестьянскую телѣгу, и повезли въ волость, съ предписаніемъ волостному старшинѣ,—доставить то, что осталось отъ Ивана Хомца, въ его родную Осиновку, къ законной женѣ его и дѣтямъ.

Быль жаркій августовскій день, и Аугинья Хомцова, одна изъ спутницъ старой Кандубихи, цѣлый день жала овесъ, и теперь, подъ вечеръ, истомившись, лежала у „могилъ“. Было тихо; надъ старыми могильными курганами тихо стояли трепетныя осины, и въ ихъ тѣни ничкомъ лежала женщина, и не хотѣла итти домой, въ пустую черную избу, къ сварливой тещѣ, къ вѣчно-голоднымъ, кричащимъ дѣтямъ.

Быстро и беззвучно шелестѣли надъ нею листья деревьевъ; тихо вдали кричалъ перепелъ; тихо плыли въ усталой головѣ полумысли: придетъ, наконецъ, земскій начальникъ, получатся деньги, это давно-жданное казенное пособіе семьѣ запаснаго, взятаго на войну... Что она купить?.. А тамъ вернется Иванъ... Пріятныя мысли!.. Не хочется вставать съ зеленой травы, не хочется итти домой!

— Аугинья—у! Аугинь—я!—доносится до нея долгій крикъ отъ села.

Она нехотя встала и пошла.

На краю села она увидѣла толпу людей около телѣги, запряженной лошадей. Толпа стояла

неподвижнымъ и молчаливымъ кругомъ. Когда женщина подошла ближе, — всѣ обернулись къ ней и молча разступились, давая ей дорогу.

— Ну, что жь! Мусить така Божжа воля... Бяри своего мужика, Аугинья... Вярнулся!..

Это старшина, высокій мужикъ фельдфебельскаго вида, говоритъ ей, и тоже отступаетъ отъ телѣги съ большой обтертой корзиной... И точно для того, чтобы сократить тяжелую сцену, онъ начинаетъ громко кричать, будто и въ самомъ дѣлѣ онъ фельдфебель, а передъ нимъ рота солдатъ.

— Ну, чаго стали? Ничипоръ, вяди коня, вяди шпарчей до двора; раступись!

Дома, когда мужики вносили корзину въ избу, и послѣ, когда бабы—сосѣдки вынимали ея мужа и, обмывъ и переодѣвъ, уложили его на палатахъ внизу, — Аугинья, потрясенная не ожиданно свалившейся бѣдой, съ полнымъ недоумѣніемъ лицомъ слѣдила за всѣмъ, не принимая ни въ чемъ участія. И только вечеромъ, когда всѣ ушли, и дѣти заснули, а Иванъ, лежа въ углу, стоналъ и бредилъ и жалобно просилъ пить, а подъ окномъ надрывающе выла собака, — только тогда женщину охватило безумное горе; точно только тогда увидѣла она и поняла размеры своего несчастья. И упавши головой на столъ, она начала тоже выть, жалобно, дико и протяжно, какъ надъ покойникомъ.

— А и на кого жъ ты насъ, Иванюшка, поки—инуль?..

И билась головой, и выла; и были съ нею вмѣстѣ и собака подъ окномъ, и проснувшіяся дѣти на печи, и старая теща на палатяхъ. Казалось, самыя стѣны избы были и плакали съ ними; заполняя ночную тишину, вой этотъ несея по улицѣ, по деревнѣ, стлался по полямъ и болотамъ, поднимался къ черному небу.

Когда, подвыпивши, мужикъ учить свою бабу, и сквозь соломенную крышу, дырявыя окна и щелеватыя двери на улицу вырывается заглушенный женскій крикъ:

— А ратуйте жъ вы меня! Смертынька моя пришла!..

Тогда мужчины проходятъ мимо избы, гдѣ осуществляются священныя права главы дома, поспѣшно, отвернувшись, какъ будто ничего не слыша... Но женщинъ эти вопли чаруютъ и манятъ. Сначала онѣ стоятъ у дверей своихъ избъ и слушаютъ; потомъ выходятъ за ворота, и съ растерянными, нервно вздрагивающими лицами идутъ тихонько, какъ-будто мимо воли, къ своей бабьей голгофѣ; собираются кучками, шепчутся и посылаютъ кого-нибудь къ окошку подсмотреть; но потомъ, неудержимо влекомыя, подходятъ сами и слушаютъ, и сообщаютъ другъ другу шепотомъ:

— У груди, у груди... ой, забьетъ?

— А божухна ты мой! По чимъ попало!.. Обь землю...

— Немае голосу... забилъ, мусить... Ногами бьетъ!! Таюлечки жъ вы мои!..

И шепчуть, и дрожать, и не могутъ оторваться.

Такъ и теперь, на вой Аугиньи потянули къ ея избѣ бабы съ обоихъ концовъ деревни и стали передъ окнами табункомъ.

Позднѣй другихъ пришла Кандубиха и, на правахъ старухи, прямо отправилась въ хату. Понемножкѣ начали проскальзывать за нею и другія, и скоро вся изба была полна. Однѣ стояли пригорюнясь и подперевъ головы руками, другія вытирали слезы концами головныхъ платковъ, а среди нихъ Аугинья еще сильнѣе глосила и билась головой о столъ.

Вдругъ изъ чьей-то могучей, страстно взволнованной груди вырвался рыдающій крикъ и заглушилъ охрипшій голосъ Аугиньи; а за нимъ, точно вешняя вода въ прорванную плотину, ринулись вопли остальныхъ, безумные, отчаянные, гаснущіе жалобнымъ стономъ:

— А й нема у васъ вашего таточки!....

И опять шла по дорогѣ Кандубиха съ своей длинной палкой въ рукѣ; и опять за ней тянулась Аугинья.

На этотъ разъ онѣ шли въ волость. Она прислала имъ полумертвое тѣло, пускай же она и освободить ихъ отъ него.

Въ волости, въ большой приѣмной, за рѣшеткой, три помощника писаря, скучая и зѣвая, строчили бумаги. Фельдфебелеобразный старшина и писарь сидѣли въ судейской и пили водку, закусывая огурцомъ. И сюда, въ это царство житейской пошлости, шли эти безумныя бабы съ своими безумными требованіями. Онѣ вошли, враждебныя и возмущенныя, и потребовали старшину.

— Што жъ вы гѣто, господинъ старшина, издѣлали? Привязли Ивана и кинули! А хто жъ яго носить буде? а хто жъ за нимъ ходитъ буде? Баба жъ яго и не подыме! А поить-кормить?

— Змаялась я съ нимъ, Боже жъ мой! Нѣту моей силухны! Взяли у меня мужика, прикинули нима вѣдомо што! Бярите его куды хотите, ня треба мнѣ ёнъ такий!..

Долго бился съ бабами старшина, просилъ ихъ, и кричалъ на нихъ. Писарь взывалъ даже къ ихъ человѣколюбію. Но Кандубиха цыкнула на него, и онъ замолчалъ, какъ будто понявъ, что и для человѣколюбія есть невозможное.

Поздно ночью пошли бабы обратно, ничего не добившись и получивъ неопредѣленное обѣщаніе, что калѣкъ начальство назначить, должно быть, пенсію,—не то три, не то восемь рублей въ мѣсяцъ.

Шли онѣ убитыя, злобныя и подавленные этой непонятной и жестокой жизнью, подъ игомъ которой онѣ жили весь вѣкъ, которая взяла крѣпкаго, здороваго человѣка изъ семьи, чтобы подкинуть потомъ хуже чѣмъ трупъ, которая окру-

жила ихъ стѣной непонятныхъ формъ, и противупоставила имъ людей съ властью и силой. Этихъ людей, которые все могутъ.—Онѣ ходятъ, просятъ, онѣ требуютъ у нихъ,—и всюду встрѣчаютъ глухую стѣну. Изъ этой жизни онѣ пытаются выбиться, а она давить ихъ все ниже къ землѣ.

— Привязу къ вамъ яго и кину: дѣлайте же съ нимъ, что вы сами вѣдаете! Привязу, до души привязу!—кричала Аугинья, выходя изъ волостного правленія.

Но и тогда и теперь она чувствовала, что и это не приведетъ ни къ чему. И вотъ она шла темной ночью, и темное глухое отчаяніе все выше волной поднималось въ ней и затопляло ее душу.

Въ лѣсу на узкой дорожкѣ онѣ встрѣтились, почти столкнулись, съ двумя темными фигурами.

— Кто хрещеный?

Но темныя фигуры подались въ сторону и, не отвѣтивъ, быстро прошли мимо.

— Мусить Микита Бушковскій, — подумала вслухъ Кандубиха.

Потомъ, когда онѣ вышли на поле, она вдругъ остановилась и дернула Аугинью за рукавъ.

— Глянь!

Вдали за рѣкой, въ рѣчномъ туманѣ, играя въ немъ багровымъ отсвѣтомъ, поднимался къ небу столбъ огня.

— Ляди жъ, бабонька, не кажи никому, што мы кого сустрѣли у лясу. Никого мы не бачили, никого...

Онѣ стояли и глядѣли на разгоравшійся пожаръ, безмолвно и долго.

— Хай горитъ! Не наша шкода... Пойдемъ, дѣвонька...

И вновь пошли, а въ это время за лѣсомъ, позади ихъ, поднялся другой красный столбъ; а немного погодя впереди, на горизонтѣ, третій и четвертый, и гдѣ-то далеко чуть видный—пятый.

Черезъ часъ все небо пылало громаднымъ полукругомъ, и вѣтеръ наносилъ на нихъ ѣдкій запахъ гари и дыма. Грѣмя бубенцами, проне-слась вдругъ тройка взмыленныхъ лошадей и мелькнулъ красный околѣшъ земскаго начальника. За тройкой разстилалась лошаденка урядника.

— Знайшоуся же и енъ, ага! Знайшоуся же и ты! Спознали люди, якъ тебя гукнуть!—Смѣется имъ вслѣдъ Қандубиха.

— Тетухна,—спрашиваетъ ее вдругъ Аугинья, —можа вы вѣдаете: чи ихъ усихъ поपालють? Чи пожгутъ ихъ усихъ?

И смотритъ на разливающееся огненное море и на столбы искръ, змѣей несущіеся по ночному небу, и, схвативъ Қандубиху за рукавъ, трясетъ ее, что есть силы, и кричитъ въ припадкѣ безумной, отчаянной злобы:

— Усихъ васъ поपालють, прокляты! Поपालють и съ дятьми вашими! Кабъ ня вѣдали вы спо-

кою у сырой зямли! Кабъ ня было душеньки
вашей прощенья! Иванюшка, родненькій мой,
Ива-а-а-нюшка!!..

Догорѣли пожары. Перепуганный Андрей Петровичъ и Анна Ивановна, а съ ними и Соня съ Сережей, доскакали уже до уѣзднаго города. И Аугинья успѣла уже заснуть безпокойнымъ сномъ послѣ ночи, полной огня и рыданій...

Изъ-за синей тучи на востокъ разливался розовый свѣтъ, и по небу побѣжали сіяющіе лучи; дрогнули туманы надъ рѣкой, и начали таять и подниматься кверху. Старыя казацкія могилы тихо лежали среди полусжатыхъ полей, и глядѣли спокойно, какъ глядѣли уже сотни лѣтъ, на просыпавшуюся жизнь. Трепетныя осины надъ ними шумѣли и дрожали отъ пробудившагося вѣтра; а громадное красное солнце всходило изъ лиловой теперъ тучи.

Начинался новый день, новый актъ „Сельской идилліи“.

Двѣ души.

I.

Привычка мысли, заставляющая меня смотреть на общественный процессъ не иначе, какъ на процессъ строго эволюціонный, въ которомъ каждый шагъ впередъ вызванъ и обусловленъ всѣмъ предыдущимъ, въ которомъ въ каждомъ „сегодня“ зрѣетъ будущее „завтра“,—сдѣлала меня мало склоннымъ къ утопіямъ.—Я думаю, не только для меня, но и для многихъ, это—почти бранное слово, которое мы легко и охотно даемъ всему, что мы считаемъ надуманнымъ, не выросшимъ изъ прошлаго, не подготовленнымъ всѣмъ предыдущимъ.

Надо быть трезвымъ политикомъ, надо помнить, что „медленно движется время“; поэтому каждый день надо дѣлать только тотъ шагъ впередъ, который сдѣлать можно; его надо дѣлать во что-бы то ни стало,—но дальше возможнаго и осуществимаго не итти.

Я это усвоилъ, вѣроятно, и потому, что изъ всѣхъ афоризмовъ моего отца, въ мою память вѣзалась всего сильнѣе сентенція: „Человѣкъ отъ пѣтуха отличается чувство мѣры“.

И я ясно чувствую „мѣру вещей“, и отличаю возможное отъ неосуществимаго, созрѣвшее отъ

зеленаго,—пока вращаюсь въ мірѣ близко знакомыхъ мнѣ предметовъ и отношеній, и обычныхъ для человѣка моего общественнаго слоя угловъ зрѣнія. Но зато всякій разъ, когда я иду къ людямъ другой жизни,—меня охватываетъ глубокое смущеніе, все ясное становится опять туманнымъ, и я съ сомнѣніемъ поглядываю на мое „мѣрило“.

Другая жизнь создаетъ другія представленія о нужномъ, должномъ, цѣнномъ и возможномъ; иначе оцѣнивается,—что органически выросло и что произвольно; и то, что мнѣ кажется верхомъ житейской мудрости,—зоветъ „слякотью“, и рвется всей душой къ „утопіямъ“.

Отсюда тягостное непониманіе другъ друга.

Я жилъ однажды въ небольшомъ уѣздномъ городишкѣ,—настоящемъ гниломъ болотѣ, гдѣ человѣкъ на улицахъ тонулъ въ грязи, и гдѣ еще больше грязи было во взаимныхъ отношеніяхъ людей.

Это было въ чертѣ еврейской осѣдлости. Городъ по этому былъ набитъ подневольными жителями, которымъ оставалось или найти хлѣбъ на мѣстѣ, или умереть на мѣстѣ-же. Веревка, на которой они были къ нему привязаны, была, пожалуй, и не очень коротка: изъ какого-нибудь Борисова можно было ѣхать въ Бердичевъ, а оттуда въ Мозырь, или Ченстохово; но и Мозырь и Ченстохово такъ-же перенаселены людьми, которые, послѣ цѣлаго дня работы ужинаютъ кус-

комъ ржавой селедки, или головкой лука, и говорятъ прїѣзжему человѣку:

— Зачѣмъ прїѣхалъ? Чтобы вырвать у нашихъ дѣтей корку хлѣба?

Поэтому люди сидѣли на мѣстахъ,—въ мѣстечкахъ и городишкахъ,—и находили въ ихъ грязи—одни свой скудный хлѣбъ, другіе полуголодную смерть.

Какъ они жили? На три какія нибудь тысячи населенія было тамъ сто лудильщиковъ самоваровъ, пятьдесятъ портныхъ „изъ Варшавы“, „изъ Петербурга“, и цѣлая туча часовщиковъ, факторовъ, папиросницъ и маклеровъ; было, быть можетъ, двѣсти лавокъ, и въ каждой лавкѣ на десять рублей товару. Эта жизнь была массовымъ опытомъ строгой діеты, граничащей съ неупотребленіемъ пищи, и вѣчнаго трепета. Оттого люди, ползавшіе въ грязи, были прозрачно блѣдны, преждевременно стары, и униженно робки и покорны передъ всѣми, кто носилъ на шапкѣ кокарду, у кого бренчали въ карманѣ рубли. Оттого эти счастливцы были такъ гордо наглы, какъ могутъ быть наглы только владыки, окруженные рабами.

— Эй, ты, пархъ!—кричитъ такая кокарда проходящему Янкелю,—бѣги ко мнѣ домой, отнеси барынѣ записку и покупки, живе!

И вотъ, въ такомъ то городѣ построили спичечную фабрику. Ея хозяева могли смѣло говорить, что они дали людямъ хлѣбъ. И они говорили это, и даже больше.

— Вы видите, говорили они, какая это сволочь! Они дошли безъ насъ; они глотки другъ другу рвали, чтобъ получить у насъ работу. Мы ихъ кормимъ, парховъ, а они еще разныя фанаберіи выдумали... Стачки!

Но это было значительно позже, лѣтъ черезъ пять, когда люди, воспитанные фабричными станками и порядками, зашевелились. Сначала-же они, цѣпляясь за хлѣбъ, терпѣли все, что угодно было ихъ господамъ.

Порядки на захолустныхъ, не замысловатыхъ фабрикахъ, гдѣ не представляетъ трудности замѣнить хотя-бы весь персоналъ рабочихъ другими,—извѣстны. Но въ еврейскомъ перенаселенномъ городкѣ всѣ безобразія не могли не быть возведены въ квадратъ.

Можно платить взрослому рабочему семь, а женщинѣ—четыре, пять рублей въ мѣсяцъ? Можно растянуть рабочій день до пятнадцати часовъ? Можно. Такъ чего-же смотрѣть имъ въ зубы?

Но произволъ и издѣвательство сильныхъ растутъ пропорціонально беззащатности слабыхъ. Поэтому спичечный директоръ ходилъ по фабрикѣ не иначе, какъ индѣйскимъ пѣтухомъ, и всѣ, кончая надзирателями и мастерами, смотрѣли на мужчинъ, какъ на илотовъ, на дѣвушекъ—какъ на наложницъ.

— Приходи вечеромъ! бросалъ мастеръ приглянувшейся дѣвушкѣ; и если она не приходила разъ и другой,—её выгоняли вонъ, на ту уличную грязь, въ которой вязли ея ноги съ дѣт-

ства. У дѣвушки былъ, такимъ образомъ, выборъ только между тою, или другою грязью. Выборъ зависѣлъ отъ многихъ причинъ: отъ силы духа, семейныхъ обстоятельствъ, вкуса, развитія...

Въ этой лужѣ, въ лужѣ зла и униженія, люди бились долго. Но „свѣтъ и во тьмѣ свѣтитъ“, и чѣмъ чернѣе ночь,—тѣмъ жарче стремленье къ свѣту. Я познакомился съ фабрикой и ея жертвами, когда онѣ были всѣ охвачены огнемъ „утопій“, въ которыя вѣрили, и за которыя хотѣли биться. Познакомила меня съ ними моя старая пріятельница Гольда, еврейская дѣвушка, служившая на фабрикѣ наклеивающей бандеролей. Однажды вечеромъ она пришла ко мнѣ съ подругой и молодымъ рабочимъ, и говорить.

— Мы хотѣли поговорить съ вами о нашемъ дѣлѣ. Мы хотимъ начинать стачку.

Первый вопросъ, который въ такомъ случаѣ возникаетъ,—и я задалъ его имъ:

— Какія же у васъ средства, есть ли стачечный фондъ, деньги?

— Ну, что вы! И какія же у насъ могутъ быть деньги?!

— Но какъ-же тогда бастовать? Вы не можете выдержать и недѣли...

— Ахъ, какъ-же не выдержать! Надо выдержать, мы всякій голодъ можемъ выдержать, только такой жизни съ насъ довольно!

— Это уже у насъ рѣшенное дѣло, вмѣшивается ея подруга... Мы васъ хотимъ просить не объ этомъ. У насъ есть требованія,—вы намъ составьте ихъ и хорошо напишите на бумагѣ.

— Мы вамъ расскажемъ, а вы напишите. Но напишите такъ, чтобы дирекцію пробрало, чтобы они почувствовали безпокойство подъ своими жилетами. Вотъ что вы имъ должны написать...

Гольда срывается съ мѣста и быстро бѣгаетъ по комнатѣ минутку. Потомъ становится противъ меня, вытянувшись, какъ струнка. Глаза,—большіе, мрачные еврейскіе глаза въ широкихъ бурозинныхъ кругахъ на прозрачномъ лицѣ,—широко раскрыты и смотрятъ поверхъ меня, вдаль, и, я думаю, ничего не видятъ.

— Вы должны имъ сказать, что они пьютъ нашу кровь!—диктуетъ она мнѣ. Что они губятъ наши души. Что они подлы, какъ самые жестокіе эксплуататоры! Was sag'ich? Какъ звѣри! Да!... Но мы поняли наши права, и мы объявляемъ имъ войну!

— Мы требуемъ,—пишите: требуемъ, а не просимъ,—требуемъ законнаго рабочаго дня... Вы думаете, мало десяти часовъ, чтобы отравиться фосфоромъ? Мы требуемъ справедливой платы и вѣжливаго обращенія. Скажите имъ, что всѣ мы знаемъ, что мы ихъ кормимъ, мы даемъ имъ дивиденды. Пусть они насъ уважаютъ!

— Пусть они лѣчатъ насъ отъ своего фосфора и сѣры; пускай лѣтомъ даютъ отпуска; больнымъ—пенсію! Что? Или намъ не надобно здоровья? Или намъ не нужно жизни? Мы не такіе люди, какъ всѣ?! А если не могутъ сами,—пусть обращаются къ правительству,—намъ все равно. Намъ все равно, какъ они сдѣлаютъ, но

мы хотимъ быть здоровыми. А тамъ насъ убиваютъ...

Ея голосъ все повышается, и она почти кричитъ, и гнѣвно бросаетъ обвиненіе въ лицо своимъ отсутствующимъ врагамъ. Я смотрю на худенькое трепещущее тѣло замореннаго ребенка, одѣтое въ ветхія тряпочки, на горящіе лихорадкой глаза, слышу этотъ треснувшій, рвущійся голосъ,—и зародившееся было чувство остраго сожалѣнія быстро гаснетъ, чтобы уступить мѣсто другому,—чувству неловкости за собственное благополучіе, и глубокой серьезности того, что предо мной происходитъ.

— Насъ, дѣвушекъ, постоянно оскорбляютъ и унижаютъ, насъ позорятъ... Пусть эти подлые мужчины не смѣютъ входить въ наши мастерскія. Пусть заводятъ мастерицъ. Мы не хотимъ видѣть мастеровъ, директоровъ... Этихъ!..—Мы не хотимъ тоже, чтобы насъ выбрасывали на улицу, какъ кошекъ, по первому доносу мастеровъ, мы требуемъ, чтобы былъ особый комитетъ изъ рабочихъ и хозяевъ, поровну. Пусть комитетъ расчитываетъ и принимаетъ рабочихъ, пусть разбираетъ ссоры, пусть онъ ведетъ дѣло!

— Вы имъ напишите, что мы поведемъ дѣло не хуже ихъ. Что мы не глупѣе ихъ, и честнѣй. Мы, бѣдные и голодные, мы сто разъ честнѣе ихъ! И мы поведемъ дѣло хорошо, и съ нихъ довольно будетъ, дивидентовъ,—пусть давятся ими! но мы не хотимъ быть больше рабами; и не будемъ! Поняли вы это?!

Я, конечно, понялъ. Но я подавленъ и потрясенъ. Я ничего не могу возразить ей, я согласенъ и съ тѣмъ, что проектируемый ею порядокъ хорошъ и справедливъ; понимаю, что онъ созрѣлъ въ нихъ съ силой психологической необходимости, что все въ немъ законно, нужно для нихъ, и въ будущемъ неизбежно. И въ тоже время я знаю, что требованія неумѣренны, неосуществимы, утопичны. Припоминаю о пѣтухѣ и чувствахъ мѣры, и—молчу.

— Что-же вы ничего не говорите? Вы, можетъ быть, не согласны? Я можетъ быть, напрасно привела ихъ сюда?—тихонько говорить Гольда. и смотреть на меня презрительно и враждебно.

— Нѣтъ. Я согласенъ...

— Но тогда чего-жъ вы молчите?

— Мы начинаемъ говорить, и я выясняю свою точку зрѣнія. Требования о сокращеніи рабочаго дня и объ увеличеніи платы я считаю осуществимыми. Быть можетъ удовлетворять и требованіе о мастерицахъ. Но это мало измѣнить дѣло. Лѣтній отдыхъ нигдѣ не практикуется, покрайней мѣрѣ съ сохраненіемъ заработка. Пенсіи возможны тамъ, гдѣ есть страхование; у насъ его нѣтъ. Но комитетъ изъ рабочихъ для управленія фабрикой—это утопія. Въ сущности, это почти социализмъ, послѣдній этапъ къ нему... И я начинаю доказывать правомѣрность частичныхъ улучшеній, количественныхъ перемѣнъ, и полную несвоевременность тѣхъ глубокихъ социальныхъ измѣненій, которыя проектируетъ социализмъ.

— ... И общественныя условія для этого не подготовлены, да и вы сами не созрѣли—кончаю я.

— Что вы насъ пугаете разными словами,—сердито возражаетъ Гольда. Соціализмъ! Соціализмъ! И что это значить „созрѣли“ и „не созрѣли“!

— Вы думаете, что мы созрѣли только для такой спичечной фабрики, какъ эта? Да? А для хорошей жизни мы не созрѣли? Ну, вы подумайте сами:—развѣ мы наши требованія изъ головы выдумали? Ну, пусть намъ прибавятъ сегодня плату... Ну! Сегодня прибавятъ, а завтра убавятъ? Намъ тогда опять стачку? Вы думаете, мы очень любимъ ничего не купать? Или,—намъ сдѣлають уступку, а его—и она показала на своего товарища—выгонять? А Стась намъ нуженъ. Это онъ привезъ намъ изъ Варшавы всѣ наши мысли. Мы безъ него еще долго были бы какъ въ лѣсу. Онъ всѣмъ намъ нуженъ, всѣ его любятъ, и—его выгонять, а мы будемъ смотрѣть?

— Но, Гольда,—пытаюсь я убѣдить ее,—вашъ комитетъ навѣрно обанкротитъ фабрику.—Если всюду условія работы тяжелы,—то отдѣльная фабрика не можетъ представлять исключенія. Она лопнетъ, и вы всѣ останетесь безъ работы.

— Тогда мы пойдемъ на другія фабрики, пусть лопаются и онѣ!.. Ну, что же вы на меня смотрите? Чего же вы испугались? Какое намъ до нихъ дѣло? Или, вы думаете, мы должны охранять эти разбойничьи гнѣзда, эти ямы, гдѣ насъ водятъ къ директору и къ мастерамъ?..

— И все это пустяки! Развѣ люди могутъ жить безъ спичекъ, или безъ ситца? Это все ложь, это вы все выдумали,—да, вы, вы, сытые и богатые и ученые, для того, чтобы все оставалось постарому, и вы постарому были богаты и лѣннывы...

— Гольда, вы говорите, какъ разнервничавшаяся женщина. Такъ нельзя. Что думаетъ вашъ товарищъ?

Стась,—молодой человѣкъ, на видъ хилый, съ тонкой, точно изсохшей мелкоморщинистой кожей на подвижномъ лицѣ, съ тихими и скромными манерами,—сначала какъ будто поддержалъ меня.

— Панъ есть правъ,—началъ онъ съ явно польскимъ акцентомъ,—дай Богъ, чтобы можно было достать половину того, что мы требуемъ... Але, але, что же можно зъ нашихъ требованій отбросить? А ни одной буквы! И для того есть много причинъ. Первая причина практическая: въ этомъ дѣлѣ треба запросить. Но важно не это. Важно то, что уступки, которыя мы получимъ, стоятъ намъ самимъ сто разъ дороже Да-ли Бугъ! Изъ-за нихъ биться не стоитъ. Нѣтъ интереса. Мы живемъ, якъ въ тюрьмѣ, мы ломаемъ себѣ пальцы, чтобъ отодвинуть засовъ. Вотъ наша цѣль! Кто станетъ ломать себѣ пальцы, если не маетъ надѣи выйти на свободу? Только сумасшедшій. Мы же должны имѣть надежду, должны имѣть свою великую цѣль и къ ней стремиться.—И то еще далеко не социализмъ... Но и совсѣмъ не то, что совѣтуете намъ вы...

Э! Я вѣмъ,—вы думаете, что съ этихъ работниковъ досиць и того, что есть, ну, въ Германіи: страховка, пенсіи, еще что? Н-нѣ-тъ! То съ васъ довольно; но намъ—мало, мы идемъ дальше; и чтобы итти въ далекій путь, намъ нужно собрать свои силы и зажечь въ нашемъ сердцѣ огонь и поставить передъ собой идеалы! Вотъ, что намъ важно. Да. То есть для насъ найважнѣйшее. А выйгрышъ яко-нибудь гривенника... И гривенникъ, конечно, не мѣшаетъ, но то есть второе...

До глубокой ночи сидѣли мы и обсуждали детали. Т.-е. обсуждали они, а я сидѣлъ и слушалъ, и иногда напоминалъ о благоразуміи. Но, въ сущности, я былъ сбить съ моей позиціи.

На другой день фабрика стала, и рабочіе предъявили свои „пункты“.

— Боже мой, что за крикъ поднялся въ городѣ!.. Это была первая стачка, а требованія были исключительно смѣлы и широки. По моему настоянію, былъ поданъ голый списокъ ихъ безъ мотивовъ и объясненій, какъ хотѣла Гольда; но и этого было достаточно, чтобы уѣздное болото застонало и заходило, какъ на дрожжахъ. Тогда-то и говорилъ одинъ изъ патроновъ про рабочихъ, что они „неблагодарныя сволочи“,—а исправница увѣряла знакомыхъ дамъ, что „пархи будутъ дѣлать возстаніе, потому что они демократы“.

Власти въ ожиданіи этого мобилизовались. Но забастовщики сидѣли смирно. Въ то время, какъ верхи общества гудѣли, будто растревожен-

ныя пчелы, низы напряженно молчали. Только утромъ каждый день рабочіе собирались къ фабрикѣ и, потолкавшись около нея съ полъ-часа, и потолковавъ между собою,—тихо и медленно расходились.

II.

Лѣниво ползуть по низкому небу тяжелыя сѣрыя тучи, и плачутъ мелкими и частыми каплями.

Плачутъ вмѣстѣ съ нимъ дырavyя, черныя крыши, плачутъ высокіе пирамидальныя тополя и въ отчаяніи поднимаютъ къ угрюмому небу свои полуголыя вѣтви; грязными потоками стекаютъ эти слезы съ глиняныхъ стѣнъ вросшихъ въ землю мазанокъ, и застаиваются лужами, подобными озерамъ, на пустыряхъ и кривыхъ мрачныхъ улицахъ города.

Пусто. Никому не охота мокнуть подъ дождемъ и мѣсить липкую грязь. Тоскливо и пусто. Только изрѣдка проѣдетъ въ телѣгѣ крестьянинъ на унылой лошаденкѣ, или полуголый мальчишка, скользя, пробѣжитъ въ отцовскихъ калошахъ на босу ногу въ сосѣднюю лавченку... Кажется что жизнь замерла.

Уже больше недѣли тянется стачка. Сначала она волновала, и люди сновали по улицамъ и собирались кучами и толковали. Но когда стало извѣстно, что нѣсколькихъ „коноводовъ“ забрали въ тюрьму, что изъ сосѣдняго города при-

гнали роту солдатъ, когда увидѣли, что ни страхъ, ни голодъ не беретъ „сумасшедшихъ“ рабочихъ, надъ городишкомъ нависла сѣрая туча тоски и опасеній.

— Богъ знаетъ. Богъ знаетъ, что это будетъ, — вздыхаетъ Мордухъ Литвинеръ, у котораго я покупаю табакъ и гильзы, — Богъ знаетъ!

Онъ долго и удивленно смотритъ грустными глазами куда-то въ пространство, точно ищетъ и не находитъ тамъ отвѣта, и, наконецъ, сообщаетъ мнѣ.

— Борухъ пишетъ изъ Аргентина: продалъ купцамъ двѣсти быковъ... Двѣ сотни быковъ! Живутъ же люди!

Онъ наглядѣлся на окружающую его нищету, и эта Аргентина рисуется ему земнымъ раемъ, и изумляетъ.

Хромой булочникъ, который приноситъ мнѣ по утрамъ баранки и булки, тоже угрюмо бормочетъ:

— Подохнуть съ голоду, больше ничего! Гдѣ-жъ гѣто видано, кабъ хвабриканты змилостивились надъ народомъ? А имъ яще и солдатовъ пригнали...

Я выбралъ минутку, когда дождь пересталъ, и пошелъ посмотрѣть, что дѣлается у моихъ друзей. По дорогѣ мнѣ встрѣтилась Гольда.

— Ну, что у насъ новаго?

— Новаго? Вы, можетъ быть, слышали? Сегодня взяли и Стася. Онъ въ тюрьмѣ...

Мы идемъ за городъ, туда, гдѣ кончается рядъ убогихъ лачужекъ и, направо, стоитъ

угрюмая красная фаарика съ высокими трубами и башнями-бастионами по угламо. Чудакъ-архитекторъ построилъ ее въ видѣ разбойничьяго замка, и высится она, тяжелая и грозная, своимъ зубчатымъ фронтономъ надъ тонущимъ въ грязи рядомъ землянокъ ея подневольныхъ рабовъ. Налѣво отъ дороги, прямо противъ фабрики, разлеглось низкое, длинное зданіе за высокимъ частоколомъ. Это тюрьма. Какъ хищный звѣрь, прижалась она къ землѣ и караулитъ добычу. Изъ-за частокола виденъ только верхъ крыши и черное слуховое окно. Имъ она смотритъ, что дѣлаютъ возмущившіеся рабы ея угрюмой сосѣдки.

— Видите, намъ надо бороться съ ними обѣими, говорить мнѣ Гольда. Онѣ друзья и сосѣдки.

— Плохо, вѣроятно, тамъ Стасю...

— Намъ плохо, а ему... Вы развѣ думаете, что тому, кто жилъ здѣсь—и она киваетъ головою направо, —страшно быть тамъ?—И она киваетъ налѣво.

Мы идемъ молча назадъ, и у своей двери Гольда приглашаетъ меня:

— Захотите къ намъ. Старики будутъ рады.

Старый хаймъ, отецъ Гольды, сидитъ за столомъ и читаетъ толстую книгу. Изъ подъ черной ермолки длинные бѣлые локоны падаютъ на тонкое, безкровное лице съ усталыми большими глазами.

— Что хорошаго, Хаймъ?

— Что можетъ быть хорошаго? Я давно не видѣлъ хорошаго... И не будетъ...

— Развѣ вы думаете, что дѣло у нихъ не кончится добромъ?

— Что я могу думать? Почему я знаю? Дѣти хотятъ быть умнѣй стариковъ, хотятъ передѣлать свѣтъ. Хотятъ за злотч купить лѣсу на цѣлый плотъ...

— Вы, тате, оттого не вѣрите намъ...

— Ша, Голдэ! Verdur mir nit a sor! Ну, скажите вы ей, вы образованный человѣкъ, вамъ она больше повѣритъ. Что-жъ, очень они испугались ихъ стачки? Они, можетъ, голодны отъ того, что у нихъ стачка? Но мнѣ она не вѣритъ, она какъ молодой конь...

— Я уже говорилъ Гольдѣ, — по моему мнѣнію, слѣдовало бы итти на уступки. Только она и меня не слушаетъ.

— Будетъ она слушать! Но и уступки ничего не помогутъ... Все равно, будетъ стоять и нюхать свой фосфоръ, будетъ клеить бандероли и дышать своимъ фосфоромъ... Такая жизнь. А развѣ мы можемъ не уступить?

Онъ сидитъ весь согнувшись, библейская голова ушла въ плечи, и глаза смотрятъ покорно и горько.

Маленькая старушка, вся сморщенная, по старинному—въ парикѣ, сидитъ у печки и быстро вяжетъ длинный чулокъ.

— У нихъ капиталъ, мы бѣдные люди... развѣ могутъ они сжалиться надъ нами?

У двери на лавкѣ дремлетъ крестьянинъ. У каждаго крестьянина есть въ городѣ свой еврей. къ которому онъ заѣзжаетъ, когда бываетъ на базарѣ, къ которому сваливаетъ непроданный возъ дровъ, или куль овса. Въ бѣлой свитѣ и бѣлыхъ онучахъ, въ бѣлой вязаной шапкѣ на бѣлыхъ волосахъ, сидитъ онъ неподвижно и безучастно и какъ будто спитъ. Но тутъ онъ поднимаетъ медленно вѣки надъ бѣлыми глазами и медленно говоритъ:

— Што хвабриканты, што паны... одной хевры! За землю плати, за воду плати... Кабы сила, за слоньце бы гроши брали... А усѣ имъ мало.— Нима, и не было у нихъ правды!

Мнѣ становится душно подъ этимъ низкимъ потолкомъ, гдѣ безнадежная тоска свила себѣ такое прочное гнѣздо,—и я встаю.

— Проводите меня, Гольда.

Мы идемъ по узкимъ, скользкимъ мосткамъ, чѣрняющимъ дырами, и я говорю ей:

— Будемъ смотрѣть трезво на вещи. Никто въ городѣ не вѣритъ въ успѣхъ вашего дѣла. Сдавайтесь! Чтобы сдать ся съ честью, выторгуйте себѣ какую-нибудь маленькую уступку и кончайте. Вы напрасно изголодаетесь и посадите еще нѣсколько человѣкъ въ тюрьму. Гольда, на васъ ляжетъ нравственная ствѣтственность за это.

Она долго молчитъ, потомъ отвѣчаетъ тихо.

— Я знаю, и вы насъ мало уважаете. Вы только жалѣете. И для васъ—это я, или Стась,

или еще кто-нибудь подстроилъ стачку, и какъ построилъ, такъ можетъ и кончить, когда захочетъ. Вѣдь остальные — бараны, и идутъ, куда ихъ гонить пастухъ? Ну, да; работники, — это, вѣдь, дураки, они живутъ, какъ свиньи, и сами ничего лучшаго не хотятъ, имъ самимъ ничего не надо; на фабрикѣ все хорошо; можетъ быть, фабриканты даже ангелы? Виноваты все мы, агитаторы...

— Гольда, не въ этомъ дѣло. Бастовать дальше рабочимъ не выгодно, и вы должны это имъ объяснить.

— Имъ не выгодно! А мнѣ, мнѣ это выгодно?

Она выбѣгаетъ впередъ, становится передо мной и загроаживаетъ мнѣ путь.

— Мнѣ выгодно? Скажите! Какое шелковое платье я сшила себѣ изъ этой стачки! Можетъ, я на ней такъ заработаю, что закажу себѣ лисью шубу? Что? Вы, можетъ, думаете, что я очень много кушала сегодня? Что у меня полный карманъ денегъ?

— Гольда...

— И что вы мнѣ все говорите о выгодѣ? Что, мы лавочники? Или хозяева? Капиталисты? Мы люди, у которыхъ не хватаетъ силы, не хватаетъ терпѣнія... Поймите вы это!

Она стоитъ передо мной и треплетъ и рветъ рукою свою ветхую кофточку, а вѣтеръ треплетъ и рветъ ея волосы и платокъ, свалившійся съ ея худенькихъ плечъ. Я чувствую, какъ вздрагиваютъ на вѣтру эти плечи и дрожатъ ея тонкія ручки, и говорю ей:

— Дорогая моя. Тѣмъ болѣе беречь надо вамъ и себя, и другихъ...

— Ахъ! Это мысли тѣхъ, у которыхъ есть свой маленькій капиталъ... Вотъ они очень любятъ его беречь, чтобы получить себѣ на него маленькое удовольствіе...

— Знаете, Гольда, я думаю, вы немножко сумасшедшая.

— Ну, конечно. Тогда пойдѣмъ, я вамъ покажу другихъ, не сумасшедшихъ... Пойдѣмъ...

Мы сворачиваемъ въ узенькій переулокъ, гдѣ нѣтъ и мостковъ, и бредѣмъ ощупью, скользя и спотыкаясь и хватаясь за колья забора, чтобы не растянуться въ грязи. Уже совсѣмъ темно и пусто. Жалобно воютъ собаки, и жалобно воетъ вѣтеръ и свиститъ въ голыхъ ветлахъ.

— Дайте руку. Нагнитесь.

Мы пробираемся темными и узкими сѣнями и входимъ въ низкую комнату, гдѣ за столомъ сидятъ и ужинаютъ нѣсколько человѣкъ.

— Я привела вамъ его. Онъ хочетъ вамъ говорить,—объясняетъ имъ Гольда.

— Садитесь, пожалуйста! Мнѣ любезно представляютъ стулъ и извиняются, что нечѣмъ меня угостить; сами они ужинали печенымъ картофелемъ съ солью, и даже безъ хлѣба.

— Какъ ваши дѣла?—спрашиваю я.

— Ну, наши дѣла всегда немножко хромаютъ,—смѣется мнѣ въ отвѣтъ хозяинъ, сильный и веселый молодой человѣкъ.—Но и не совсѣмъ плохи. Знаешь, Гольда, кто у насъ только что былъ? Брызгунъ. Видишь? Онъ приходилъ ню-

хоть. Имъ тоже невыгодна забастовка. Они какъ разъ собирались зажечь своими спичками все Заднѣпровье. Брызгунъ тамъ цѣлый мѣсяцъ ѣздилъ, все дѣло наладилъ, а тутъ стопъ! Не работаемъ! Онъ тутъ ужъ юлилъ, юлилъ... Старая лисица...

— Что онъ вамъ предлагалъ?

— Да такъ, пустяки, нестойщее. Просто шпионилъ—все ли проѣли, или остались еще какие-нибудь бебехи...

Тѣмъ не менѣе, я начинаю развивать мою мысль и уговариваю воспользоваться первыми даже небольшими уступками, чтобы прекратить забастовку. Несомнѣнно извѣстно, что фабрика рѣшила на большія уступки не итти. Какой же смыслъ въ безплодномъ упорствѣ?

Меня слушаютъ внимательно и вѣжливо спорятъ. Только пожилой, угрюмый рабочій, который все время молчитъ и старательно очищаетъ трясущимися руками картофельную шелуху, посматриваетъ на меня враждебно и, наконецъ, встаетъ и уходитъ за перегородку. Мнѣ слышно, какъ онъ тамъ нервно стучитъ чѣмъ-то и что-то бормочетъ.

А у насъ споръ идетъ долго и упорно, хотя очень любезно. Гольда молчитъ и не вмѣшивается. Я подхожу къ вопросу съ разныхъ сторонъ; жую его и пережевываю; аргументирую, какъ мнѣ кажется, неотразимо; но неуспѣшно, такъ какъ мои внимательные собесѣдники остаются при своемъ,—складывать оружіе рано.

Вдругъ изъ-за перегородки выходитъ къ намъ

тотъ, угрюмый, и, обращаясь ко мнѣ, говоритъ волнуясь и спѣша:

— Извините меня, это, можетъ-быть, не вѣжливо. Но, только, зачѣмъ вы пришли? Зачѣмъ вамъ нужно все это говорить? Вы думаете, вы хорошее дѣло дѣлаете? Это хорошо людямъ, которые и такъ чуть держатся, духъ убавляютъ? Вы зачѣмъ днемъ не пришли? Вы бы слышали тогда, какъ мои дѣти пищатъ: „Тателе, хлѣба“! Мои, вѣдь, дѣти пищатъ! Что жъ, вы думаете, я на фабрику не иду съ дуру, или отъ того, что ушей не имѣю? Вы лучше нашего дѣла наши знаете? Я вамъ правду скажу: не люблю я такихъ совѣтчиковъ.

Тутъ за меня заступается Гольда.

— Бороухъ, ты не правъ. Онъ нашъ другъ, онъ намъ пункты писалъ...

— А когда вы нашъ другъ, то вы должны знать, что мы должны держаться до послѣдняго. Въ чемъ наша сила? Въ капиталахъ? Въ запасахъ? Чѣмъ же намъ держаться, если и вѣрности въ насъ не будетъ? Мы сказали наше слово, и должны стоять на немъ, пока можно. И не должно у насъ быть измѣнщиковъ. А вы ходите и соблазняете. Кого вы соблазняете? Голодного человѣка? Хлѣбомъ? Ну, хорошо; найдете вы слабыхъ людей, послушаютъ они васъ и начнутъ кричать: становись на работу! А мы будемъ кричать: бастуй! Вѣдь мы глотки себѣ перервемъ! Вы не видите что ли, что вы играете на руку капиталистамъ?..

Я молчалъ. А онъ не обращая уже на меня

вниманія, говорилъ, обращаясь къ своимъ товарищамъ, все разгораясь и все больше волнуясь:

— Пусть будетъ проклятъ тотъ, кто пойдетъ на уступки капиталистамъ, кто измѣнитъ своему слову. Пусть они идутъ къ намъ и просятъ! Что? Не пойдутъ? Останутся безъ своихъ доходовъ? Псс!.. Вы знаете, когда я пойду на работу?—обернулся онъ вдругъ ко мнѣ.—Когда проѣмъ послѣднюю рубаху. Тогда мнѣ не будетъ стыдно. И когда весь пролетаріатъ научится такъ бороться, тогда онъ побѣдитъ!

Веселый хозяинъ подошелъ ко мнѣ и, какъ будто извиняясь передо мной, сказалъ:

— Мы всѣ такъ думаемъ, всѣ, кто сознательный...

Но Гольда была неумолима.

— Ну, здѣсь вы довольно послушали. Пойдемъ дальше. Я васъ хоть до ночи водить буду,—послушайте и другихъ...

Но мнѣ было ясно, что и въ другомъ и въ третьемъ домѣ я услышу то же самое, увижу ту же гнѣвную пролетарскую душу, охваченную рвеніемъ великой борьбы. Слѣпъ энтузіазмъ. И въ этомъ его страшная сила.

Я шелъ домой одинъ, подавленный ощущеніемъ дурно проведеннаго дня. Соблазнялъ голодныхъ людей, идущихъ въ послѣдній бой. Отнималъ у нихъ нравственную силу. Сытый скептикъ, трезвый мыслитель, я спасовалъ подъ конецъ передъ голодными энтузіастами. Но развѣ не голодные энтузіасты строятъ новый, прекрасный міръ?

— Это не помѣшало мнѣ, конечно, оказаться объективно правымъ. Стачка тянулась восемнадцать дней и кончилась тѣмъ, что обезсиленные рабочіе стали на работу на старыхъ условіяхъ. Гольду же и еще человѣкъ десять совсѣмъ рассчитали.

Мнѣ пришлось уѣхать, и я почти мѣсяцъ не видѣлъ ея. Наконецъ, она зашла ко мнѣ.

— Пришла къ вамъ попрощаться. Ъду въ Гомель, на бумажную фабрику...

— Что-жъ и тамъ будемъ бунтовать?

— А какъ же, что-же намъ еще дѣлать? Буду работать и бунтовать.

— И въ тюрьму попадете... вѣдь здѣсь васъ отъ нея только случай спасъ...

— Ну, что-жъ? И въ тюрьму. Чѣмъ-же я лучше другихъ?

— Не въ томъ дѣло, что вы лучше другихъ. Дѣло въ томъ, что вы всѣ зарываетесь, моя дорогая...

Глядя на ея обтянутое личико, на лихорадочный блескъ ея глазъ, я думаю о томъ, что вся ея жизнь проходитъ въ тяжелой работѣ и въ еще болѣе тяжелой борьбѣ съ жизнью. Она, эта маленькая евреечка, кажется мнѣ живымъ воплощеніемъ всего этого громаднаго слоя, который, черезъ силу работая, черезъ силу бьется за мечту, за почти неосуществимое.

И мнѣ хочется избавить ихъ, если не отъ тяжести нужды и труда, то отъ тяжести бесплодной и добровольной битвы, и я ищу словъ, чтобы найти ходъ къ ея уму и ея сердцу. И поэтому,

прощаясь, я еще разъ повторяю ей то, о чѣмъ такъ часто уже говорилъ... о чувствѣ мѣры.

Я говорю и вижу, какъ по лицу Гольды разливается выраженіе тоскливой скуки. Наконецъ, она не выдерживаетъ.

— Перестаньте! Вы просто лѣнны и всѣ ваши чувства лѣнны и дряблы...

Глаза ея вспыхиваютъ гнѣвомъ, и она, прищурившись, пристально смотритъ на меня...

— Знаете, кто бы я была, если бы слушалась васъ? Я была бы ломовая лошадь и больше ничего... Кто изъ насъ, изъ работниковъ и работницъ, сидитъ тихо? Кто ничего не понимаетъ, или совсѣмъ забить, такъ забить, что даже забылъ, что онъ человѣкъ. Но, кто это помнитъ, тотъ всегда будетъ биться до самой смерти... И пусть насъ гоняютъ изъ одной фабрики на другую, и пусть насъ сажаютъ въ тюрьму, пусть дѣлаютъ, что хотятъ,—мы все равно побѣдимъ! Развѣ можемъ мы не побѣдить?

Первая половина допущеній моей милой пріятельницы сбылась съ большой точностью: ее вскорѣ прогнали съ Гомедьской фабрики, а затѣмъ посадили въ тюрьму и сослали въ Сибирь.

Не должно ли отсюда заключить, что правильно и все ея построеніе, и что они не могутъ не побѣдить?

ОСНОВЫ ЖИЗНИ.

Въ моей зеленой Бѣлорусси „спокойно.“ Туда залетаютъ только отзвуки бурь, разыгрывающихся въ другихъ мѣстахъ любезнаго отечества, а между тѣмъ... А между тѣмъ, я пересталъ туда ѣздить, потому что ѣздить я отдыхать, а „отдохнуть“ нельзя теперь и тамъ.

Все, вся жизнь насквозь пропитана и изуродована безудержнымъ звѣрствомъ, возмущающимъ душу и поднимающимъ въ умѣ одинъ вопросъ: какъ возможно все это? Этотъ развалъ жестокости, не щадящей никого, ни даже стариковъ и дѣтей?

Говоря о жестокости и звѣрствѣ, какъ объ основѣ нашей жизни, я, конечно, не преувеличиваю; да кромѣ того, я видѣлъ такъ много самъ, своими собственными глазами, что за моими словами стоитъ не произвольное мое обобщеніе, а нагой непререкаемый фактъ, много фактовъ, изъ которыхъ я могу черпать, сколько хочу.

Я помню, напр., одну ночь, холодную осеннюю ночь, съ мелкимъ дождемъ и порывистымъ вѣтромъ. Я ѣхалъ домой по распутившейся глинистой дорогѣ, и лошадь моя тяжело вытаскивала ноги изъ липкой грязи и звучно чмокала при каждомъ шагѣ. Я слышалъ днемъ еще, что въ Вордати крестьянъ „вразумляли дѣйст-

віємъ,“ и не рѣшилъ ѣхать черезъ деревню, а обогнулъ ее далеко лѣсной дорожкой.

— Аа-аа-аа-а! Аа-аа-аа-а!—доносится до меня вдругъ какой-то хриплый вой, съ взвизгивающей ритурнелю на концѣ. Сначала тихій, смѣшивающійся съ шумомъ вѣтра, онъ становится все громче по мѣрѣ того, какъ я двигаюсь впередъ, но иногда обрывается, чтобы черезъ минуту начаться вновь. Остановивъ лошадь, слушаю. Жалкіе, рыдающіе звуки съ убійственною правильностью ползутъ ко мнѣ изъ мрака ночи.

Слѣзаю и ищу—и нахожу.

Въ кустахъ лозы, на пропитанной водой землѣ, сидитъ старуха въ одной рубахѣ и „сподницѣ“ и воетъ, держа на колѣняхъ сѣдую голову старика. Онъ лежитъ, неестественно подкорчивъ ноги, весь грязный, и тяжело вздрагиваетъ и хрипитъ протяжно и долго. А она, распустивъ надъ нимъ сѣдые космы волосъ, вывалившихся изъ-подъ платка, вторитъ ему тоже долгимъ и тоже хриплымъ воемъ. Раздѣтые, истерзанные, почти уже не люди отъ холода и горя, лежатъ они у моихъ ногъ, и я напрасно хочу узнать, что съ ними, и какъ имъ помочь. Міръ для нихъ уже не существуетъ, и они меня не слышатъ, или не желаютъ слышать.

Я долго трясю женщину за плечо и кричу ей въ уши...

— Забьютъ!—отвѣчаетъ мнѣ, наконецъ, она сухимъ деревяннымъ голосомъ, и опять начинается выть и киваться въ тактъ своимъ воплямъ.

Я надралъ бересты, собралъ дровъ и съ тру-

домъ разжегъ сырое дерево. И тутъ, при слабомъ свѣтѣ дымнаго костра, я разглядѣлъ стариковъ и узналъ, въ чемъ дѣло. Укрываясь отъ нагаекъ, онъ уползъ въ кусты за деревней, и здѣсь его настигла пуля, пробившая ему животъ. Уже раненый, онъ ползъ еще весь день, все дальше и дальше, и здѣсь, верстахъ въ двухъ отъ дома, нашла его, наконецъ, старуха. И здѣсь же остались они на долгую осеннюю ночь умирать отъ холода и ранъ, не рѣшаясь вернуться домой.

Я хотѣлъ отвезти ихъ въ деревню.

— Ой, не вязите жъ насъ у двору, ой, не вязите! Зобьютъ яны насъ! Забьютъ! Лѣйше же туточки помирать, чимъ у ихъ рукахъ! Аа-аа-аа-а

Я поѣхалъ въ сосѣднюю усадьбу за помощью и людьми, и засталъ тамъ семью за ужиномъ; около хозяйки сидѣлъ молодой офицеръ, чистенькій и розовенькій, съ шеей, туго подпертой трехвершковымъ воротникомъ, и наивными рачьими голубыми глазами. Онъ вкусно ѣлъ и оживленно болталъ. Онъ рассказывалъ о томъ, какъ непрятна такая служба и какіе ужасные дураки эти мужики.

— Жаль ихъ, конечно, но, съ другой стороны, нельзя же и позволять имъ... Вышли съ палками: не пустимъ! Уходите, откуда пришли! Чортъ знаетъ что!..

Хозяйка, больше чѣмъ всегда молчаливая, съ напряженнымъ и тревожнымъ лицомъ, не смотрѣла на офицера, точно въ немъ было что-то страшное или отвратительное; а я глазъ не могъ оторвать отъ этого спокойнаго, красиваго,

вкусно закусывающего человека, и не могъ понять, какъ можетъ онъ ѣсть, когда подстрѣленный имъ старикъ корчится въ лѣсной грязи и старуха воетъ надъ умирающимъ человекомъ во мракѣ ночи.

Когда къ нимъ пріѣхала помощь, старикъ былъ мертвъ, а женщина сидѣла уже надъ трупомъ и такъ же выла и качалась. Когда черезъ нѣсколько дней ее отправили въ деревню, она осталась тамъ въ пустой черной избѣ и, вѣрно, каждый вечеръ, когда за окномъ плачетъ вѣтеръ и хлещетъ осенній дождь, сидитъ на печи и во мракѣ тоже воетъ.

— Аа-аа-аа-а!..

А зимою въ другой деревнѣ случился „грѣхъ“ — спалили помѣщичье гумно. Этотъ грѣхъ былъ звеномъ длинной цѣпи грѣховъ, господскихъ грѣховъ, всегда безнаказанныхъ, которые обитатели деревни именно поэтому копили въ сердцахъ своемъ, долго копили, отъ дѣдовъ и прадѣдовъ, чтобы дать, наконецъ, волю въ тотъ день, когда имъ показалось, что лопнула цѣпь вѣкового рабства.

За это на совѣтѣ той мелкой сошки, которая въ уѣздахъ представляетъ „власть“, рѣшено было проучить деревню. Устроены были приводы мужиковъ черезъ урядниковъ и стражниковъ въ волость, при чемъ приказано „поучить“.

Такая операція должна или совершенно не удалась, или не можетъ не сопровождаться нѣкоторымъ увлеченіемъ, особенно если на мѣстѣ дѣйствій, или на пути къ нему, есть кабакъ.

Такъ въ данномъ случаѣ и было; и потому исполнители увлеклись серьезно, тѣмъ болѣе, что встрѣтили кое-гдѣ сопротивленіе.

Рядомъ съ селеньями живыхъ, всегда имѣются селенья мертвыхъ, „могилки,“ гдѣ тихо лежатъ подъ маленькими деревянными крестами ушедшіе изъ жизни мужики и бабы. Тихо шумитъ и волнуется вокругъ нихъ лѣтомъ рожь, а зимой, когда земля покрыта толстымъ слоемъ снѣга, только вѣтеръ тихо плачетъ въ вѣтвяхъ рѣдкихъ надмогильныхъ березъ. Но въ ту ночь, когда на деревнѣ свирѣпствовала банда опричниковъ, все, что могло бѣжать отъ ихъ жестокости, бѣжало сюда, подъ защиту крестовъ и могилъ.

Сюда собрались всѣ дѣти, все женское населеніе деревни. Иныя полуодѣтыя, инныя съ грудными младенцами на рукахъ. Здѣсь, сбившись, точно испуганныя овцы, въ трепещущую кучу, сидѣли онѣ и слушали крики и топотъ всадниковъ и выстрѣлы тамъ, на селѣ, слушали плачь дѣтей и свои заглушенные, испуганные стоны здѣсь, на кладбищѣ. И дрожали отъ ужаса и мороза. А долгая зимняя ночь тянулась убійственно медленно, и убійственно медленно плыли по морозному небу далекія звѣзды. Когда же настало утро и затихло смятеніе на селѣ, оно почти затихло и на кладбищѣ. Тихо сидѣли, прижавшись къ крестамъ, полузастывшія женщины и дѣти, и еще тише лежали между ними замерзшіе трупики тѣхъ, кто не вынесъ морозной ночи.

Таковъ былъ финалъ педагогическаго экспе-

римента предержавшей власти, эксперимента, возвращающего насъ въ глубь вѣковъ, къ временамъ набѣговъ половцевъ и татаръ.

Съ тѣхъ поръ прошли вѣка. Вѣка прошли, и ничего не измѣнилось въ деревенской жизни. Такъ же стѣной стоитъ глухой и темный еловый лѣсъ, такъ же жметъ къ нему своими черными изгибами деревня, кривая, крытая соломой, поросшей зеленымъ мохомъ, съ крохотными, заткнутыми тряпками оконцами. Такъ же по улицамъ ея бродятъ боязливые или пасмурные люди, со страхомъ снимающіе шапки, когда съ грохотомъ и трескомъ въ село врываются ватаги „лихихъ“ людей, или вдругъ появляются татарскіе набѣдники, сборщики ясака, и другія власти, посѣщеніе которыхъ имѣетъ три исхода: быть битымъ, быть обобранымъ, бѣжать въ лѣса и болота. А потомъ мстить, кому попало и какъ попало.

Отъ этой черной жизни на души людей ложится накупъ черныхъ чувствъ, черныхъ мыслей, и ничто, и никогда не смоешь съ души матери, ребенокъ которой замерзъ въ ночи, на кладбищѣ, въ то время, когда въ деревнѣ учили мужа добрымъ нравамъ.

На душу народа эта накупъ ложилась долгими годами, но никогда обстановка жизни не способствовала ея образованію такъ, какъ теперь. Незримо и неслышно, въ жестокой атмосферѣ нашихъ дней, совершается перерожденіе чувствъ и мыслей массъ. Точно сорную траву, выпалываетъ жизнь мягкія, добрыя чувства, и на мѣ-

сто ихъ вырастасть жгучая злоба. Этотъ процессъ перерожденья я наблюдалъ недавно.

Въ одномъ маленькомъ глухомъ мѣстечкѣ у меня есть старый другъ, мѣстный еврейскій раввинъ. Я не зналъ въ жизни другого болѣе нѣжнаго, болѣе неземного существа. Тонкій, почти воздушный, съ легкими неслышными движеніями, съ изумительно чистыми линіями изящнаго безкровнаго лица, онъ жилъ въ бѣдности и тѣсотѣ, не замѣчая ихъ, не тяготясь ими, весь отданный своимъ книгамъ. Среди еврейскихъ талмудистовъ нерѣдки люди, до дна ушедшіе отъ жизни въ схоластику и мертвый формализмъ. Но моего друга спасъ отъ этой духовной смерти присущій ему кроткій и восторженный идеализмъ, пылкая и юношеская любовь къ людямъ. Странно было видѣть въ грязной и отвратительно-убогой обстановкѣ мѣстечковой жизни, шумной, жадной и голодной, этого старомоднаго человѣка въ длинномъ старомодномъ лапсердакѣ, бѣлыхъ чулкахъ, туфляхъ и порыжѣлой бархатной ермолкѣ. Точно осколокъ другого міра, онъ былъ поэтомъ и мечтателемъ среди лавочниковъ и кузнецовъ, кроткимъ учителемъ прекрасной жизни, среди людей, поглощенныхъ ожесточенной борьбой за существованіе. Вліяніемъ онъ пользовался громаднымъ и добрымъ. Всѣмъ было ясно, что этому человѣку для себя ничего не нужно, и потому его, проникнутыя простотой и восторженной добротой слова находили отзвукъ у всѣхъ, и для всѣхъ его единовѣрцевъ, на много верстъ вокругъ, онъ былъ судьей, руководителемъ, кроткимъ „учителемъ жизни“.

Такимъ я зналъ его давно, но не такимъ уви-
дѣлъ его недавно. Я заѣхалъ къ нему случайно,
застигнутый непогодой, и остался ночевать. Ког-
да давно не видишь человѣка, особенно остро
воспринимаешь всѣ перемѣны. И меня сразу по-
разило потухшее выраженіе прежде всегда лу-
чистыхъ счастливыхъ глазъ на обострившемся
лицѣ.

— Что съ вами? Болѣете?

— Я? Нѣтъ, я не боленъ. Я здоровъ.

Я смотрю кругомъ. Еще бѣднѣй, чѣмъ пре-
жде; и нѣтъ той ослѣпительной чистоты, кото-
рой всегда сверкали полы и стѣны и все въ
этомъ бѣдномъ домѣ.

— Гдѣ же всѣ ваши?

Еще острѣе сдѣлалось безкровное лицо моего
друга, и онъ мнѣ ничего не отвѣтилъ, — только
восковые пальцы тонкихъ рукъ пришли въ не-
опредѣленное движеніе, полное безнадёжности,
какъ будто говорили:

— Что могу я знать?!

Потомъ, долго помолчавши, прибавилъ:

— Жена лежитъ тамъ... она безъ ногъ... Да.
Рахиль безъ ногъ...

И уставился на меня упорнымъ вопрошаю-
щимъ взглядомъ.

— А дѣти?

И опять въ отвѣтъ то же движеніе рукъ, не
то невѣднія, не то безнадёжности.

Мнѣ стало ясно, что я стою на свѣжей моги-
лѣ разрушеннаго существованія, и языкъ не по-
ворачивался задавать вопросы. Томительно тяну-

лось время, и я былъ радъ, когда могъ уйти спать.

Но мнѣ не спалось. Не спалось, видимо, и моему хозяину. Долго слышалъ я тихіе шаги его ногъ въ сосѣдней комнатѣ и тихое бормотанье, по временамъ легкіе стоны, почти вскрики. Была глухая ночь, когда мнѣ не подъ силу сталъ этотъ мракъ, наполненный задушенными стонами, и я зажегъ свѣчу.

— Вы не спите?

Въ дверяхъ стоитъ мой хозяинъ и смотреть на меня лихорадочно горящими, полными отчаянья глазами.

— Вы не спите? Я тоже не сплю. Съ тѣхъ поръ, какъ все это было, я не сплю... Вы же помните Хаю? Всегда играла у васъ на колѣняхъ...

Онъ наклоняется ко мнѣ близко-близко и, глядя на меня тѣмъ же упорно-вопрошающимъ взглядомъ, начинаетъ шептать:

— Убили. Ее убили. Палкой по головѣ. Понимаете?—палкой! Въ Гомлѣ. Да, это было... Въ Гомлѣ, палкой, мою Хаю... маленькую дѣвочку... Ха-аю!

Руки его вцѣпились тонкими пальцами въ мои, и безумные глаза смотрѣли безумнымъ взглядомъ въ мои глаза, пока я съ силой не вырвался и не пересѣлъ на другой конецъ постели. Но человѣкъ даже не замѣтилъ этого. Онъ равнодушно всталъ, и зашагалъ по комнатѣ.

— А гдѣ вашъ сынъ? — спросилъ я его наконецъ.

Онъ опять безпомощно развелъ руками и не отвѣтилъ.

— Это вашъ народъ сдѣлалъ все это. Вашъ подлый и жестокий народъ. Злой и безжалостный. Съ звѣриной кровью, съ звѣриной душой... Но Богъ накажетъ. Богъ заступится. Онъ потопитъ все въ морѣ, какъ потопилъ фараона! Онъ похоронитъ васъ въ пескахъ пустыни, какъ хоронилъ противящихся его волѣ; Онъ пожретъ васъ огнемъ, какъ пожиралъ грѣшниковъ; Онъ поразитъ мечомъ, какъ поражалъ мечомъ Давида и Манассии; Онъ разрушитъ надъ головами вашими дома ваши, какъ разрушалъ руками Самсона: потому что звѣри вы, и нѣтъ въ душѣ вашей жалости... Хаю, meine Хаю!

Онъ началъ сдержаннымъ, тихимъ дрожащимъ голосомъ и кончилъ крикомъ, грознымъ и жалкимъ. Я не могу передать вамъ его словъ. Я слишкомъ слабъ въ библии, чтобы передать все, что говорилъ онъ, чтобъ передать всѣ кары, которыя онъ призывалъ изъ рукъ Іеговы на головы двуногихъ звѣрей. Но если бы я былъ даже стенографомъ, я еще менѣе былъ бы въ силахъ передать вамъ отчаяніе и ненависть этого мятущагося подъ жалкой соломенной крышей, въ Богомъ забытомъ, заброшенномъ мѣстечкѣ, никому неизвѣстнаго человѣка.

— Вы прокляты Богомъ, — кричалъ онъ мнѣ въ лицо. — Богъ, проклиная и обрекая на гибель, отнимаетъ у народа образъ свой, свою божественную душу. У васъ онъ отнялъ ее... Вы, какъ звѣри. Вы прокляты и обречены на гибель.... Ха-ая, Хая!

Потомъ, подъ утро, измученный и ослабѣвшій, послѣ ужасной и долгой ночи, послѣ безсильныхъ проклятій, онъ разсказалъ мнѣ, что было. Его жена и дѣти, сынъ подростокъ и Хая, дочь, лѣтъ двадцати, поѣхали въ Гомель къ роднымъ. Послѣ погромной ночи, сына не нашли вовсе. Тѣло дочери, истерзанной, съ проломленной головой, нашли подъ навѣсомъ, на соломѣ. Мать, послѣ ужасовъ это ночи, разбила параличъ, и она лежитъ теперь пластомъ, и шепчетъ днями что-то невнятное, должно-быть—имена дѣтей, и плачетъ однимъ живымъ глазомъ.

Утромъ, чтобъ дать послѣдній мастерской ударъ кисти, рисующей звѣриные нравы, жизнь послала въ домикъ раввина не кого иного, какъ господина сотскаго.

Я проснулся отъ громкаго крика и ругани въ сѣняхъ.

— Ты што, жидовска морда, безпашпортныхъ ховаешь? Якихъ людей пирядерживаешь? Кажи, хто такій?

И, несмотря на протесты моего хозяина, въ комнату ко мнѣ ввалился здоровенный дѣтина, съ палкой въ рукѣ и съ бляхой на груди. Онъ оказался знакомымъ, и поэтому шапка немедленно соскользнула съ головы, и грозный блюститель порядка началъ безпокойно топтаться у порога:

— Все-таки, ты зачѣмъ же скандалишь? Никакихъ правъ врыватьсѣ въ дома и ругатьсѣ ты не имѣешь...

— Милостивый баринъ! Кабъ я вѣдалъ.. Бож-жа-жъ мой! Врядникъ, становой—замучили чисто: велятъ кабъ за йми, за пархами, глядѣтъ во якъ!

Онъ приставляетъ руку къ глазу, точно смотритъ въ подзорную трубу.

— Законъ! А по мнѣ што! Хай, хто хоче, почуветь... Бож-жа-жъ мой!.. Да я...

Но хозяинъ мой не даетъ долго разговаривать либеральному блюстителю закона и спроваживаетъ его.

А, спровадивши, говоритъ мнѣ.

— Онъ знаетъ меня тридцать лѣтъ. Ну, скажите. Придѣтъ онъ меня убивать палкой, когда ему скажутъ: бей жидовъ?

И я отвѣчаю себѣ:

„Да. Онъ сегодня будетъ бить жидовъ палкой. А завтра его жена будетъ прятаться въ снѣгу, у могильнаго креста на кладбищѣ, и мертвый ребенокъ будетъ утромъ лежать на ея рукахъ, и смотрѣть ей въ глаза невидящими глазами.

Потому что основой нашей жизни является звѣриная жестокость, или жестокое звѣрство, какъ кому угодно.

Утѣшеніе.

Большая часть тѣхъ сорока семи лѣтъ, которыя я прожилъ на свѣтѣ, посвящена была изученію жизни съ ея темной стороны. По мнѣнію моихъ друзей, это была, такимъ образомъ, скверно прожитая жизнь. Но я съ этимъ не согласенъ, потому что, именно благодаря моимъ мытарствамъ, я обладаю теперь тѣмъ талисманомъ, котораго нѣтъ у моихъ друзей.

Этотъ талисманъ позволяетъ мнѣ съ полной ясностью духа переживать событія, которыя волнуютъ другихъ, потому что, какая-бы гроза надо мной ни разражалась,—я углубляюсь въ прошедшее и нахожу, что все это уже было... Были и трусь и градъ, и моръ, и мѣдныя трубы. Были отчаяніе и кровавыя слезы, погибшія жизни и истерзанныя души,—а мы все еще живы, и не только живы, но полны вѣры въ грядущее.

Поэтому, когда надо мной собираются новыя тучи и изъ темныхъ угловъ жизни ползутъ и надвигаются на меня новыя испытанія,—я смѣюсь имъ въ лицо и кричу:

— Вы уже были, и я знаю ваше безсилье. Вы уйдете туда, откуда пришли, въ ваши темныя щели; мы же останемся жить, и жизнь будетъ наша!

Таковъ мой талисманъ.

Теперь, когда мнѣ говорятъ, что я погибну подъ пятой либеральной строгости или строгаго либерализма,—я, по обыкновенію, дѣлаю маленькую экскурсію въ даль прожитыхъ мною годовъ, попадаю, такимъ образомъ, въ Обдорскъ и получаю оттуда мое утѣшеніе.

— Не погибну!

Не погибну, потому что уже погибалъ подъ ярмомъ либеральной строгости и остался цѣлъ, а ярмо сломалось.

Въ тѣ далекіе годы, когда я короталъ мои дни въ Обдорскѣ, округомъ правилъ на правахъ „отдѣльнаго засѣдателя“ бѣлый воронъ. Бѣлымъ ворономъ мы его называли по той причинѣ, что онъ одинъ изъ всѣхъ властей предрежжащихъ не пьянствовалъ день и ночь.

Все, вѣдь, тамъ было пьяно до потери человеческого образа: и молодой кудрявый батюшка, и старый сморщенный дьякъ, и врачъ, котораго всѣ обѣгали, потому что боялись смерти, и письмоводитель полицейскаго управленія, и надзиратели, и три купца, обиравшіе самоѣдовъ и остяковъ, и самоѣды, и остяки, погибавшіе въ паутинѣ купцовъ... И надъ всѣмъ этимъ пьянымъ людомъ главенствовалъ бѣлый воронъ, трезвый отдѣльный засѣдатель, Портнягинъ.

Перерывая мои вещи, разглядывая мои альбомы, прочитывая пачку писемъ моей матери и любезно предлагая вывернуть карманы, вплоть до жилетныхъ, онъ говорилъ мнѣ.

— Какъ вы изволили только что пріѣхать, то не знаете моихъ правилъ. Мое правило, первое,

не пей водки и держи себя въ аккуратѣ на своемъ положеніи... Вотъ вы, къ примѣру, поднадзорный, значитъ—не должны никуда изъ города отлучаться, и меня должны уважать, потому что я здѣсь для надзора поставленъ. Или, вотъ, я. Я долженъ за всѣмъ наблюдать и потому долженъ быть тверезъ, чтобы всѣмъ былъ примѣръ.. А второе мое правило—справедливость. Безъ закона—ни-ни! А что закономъ позволено,—дѣлай, какъ хошь. Полная тебѣ свобода... Позвольте, а въ этомъ отдѣленьицѣ у васъ что? Книги-съ? И книги пожалуйста... Токвиль? „Старый порядокъ и революція?“ Ну, ужъ нѣтъ-съ. Я вамъ отдать не могу. Эту ужъ я губернатору представлю... Такое слово... Хоть я и „лебераль“..

И началась для меня обычная канитель. Письма прочитывались, и половина ихъ вымарывалась. Токвиль арестовывался. Крартальный вламывался чуть не ночью въ мою хибарку убѣдиться,—„не совершается ли чего-либо противозаконнаго“. Рубли, которые я получалъ иногда изъ дому, совершали круговращеніе въ карманѣ бѣлаго ворона прежде, чѣмъ попасть въ мой. Все, какъ слѣдуетъ, однимъ словомъ. Но все это было сдобрено разсужденіями о законѣ, о правилахъ, о „либерализмѣ“:

— Мое правило: ежели вы ничего, то и я ничего. Предоставляю вамъ полную свободу. Но ежели вы себѣ позволяете, то и я себѣ позволяю...

Конечно, я себѣ позволялъ... Мы всѣ себѣ позволяли многое, недозволенное циркулярами,

хотя это „многое“ было на дѣлѣ такъ мизерно и такъ ничтожно. Мы входили въ общеніе съ обывателями, мы уходили изъ „города“, мы учили дѣтей грамотѣ... Мы думать забыли въ этомъ Богомъ проклятомъ, болотномъ городишкѣ, о „пропагандѣ“ и „революціи“. Но мы не могли и не хотѣли перестать быть людьми, и это постоянно сталкивало насъ съ циркулярами и либеральнымъ бюстителемъ ихъ, Портнягинымъ.

— Вы нарушаете законы-съ. Я обязанъ усилить за вами надзоръ. Я вамъ не врагъ-съ и даже сочувствую вамъ, ежели вы все по закону. Но какъ вы все нарушаете, то я неумолимъ.

И надзоръ усиливался. Это выражалось въ томъ, что подъ окнами и дверями вѣчно торчали пьяныя рожи нашихъ „надзирателей“, что стоило намъ собраться двумъ-тремъ, какъ ввергался въ совикѣ и пимахъ пьяный мѣщанинъ, приставленный къ намъ, и бормоталъ:

— По какому праву?

Его выставляли за дверь, и отсюда возникало дѣло, пріѣзжалъ слѣдователь, и начиналась волокита, кончавшаяся клоповникомъ.

Это была гнусная жизнь, полная безславной, скучной борьбы за право жить, дышать, видѣть деревья, лѣсъ, рѣку, за право ѣсть, въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Вѣдь всякая работа, приводившая насъ въ соприкосновеніе съ людьми, воспрещалась. А такъ какъ всѣ препоны сдабривались разсужденіями о „свободѣ въ предѣлахъ закона“, то мы вдвойнѣ ненавидѣли нашего бѣлаго ворона и за притѣсненія и за его

„леберальное“ ханжество. А ненависть плохой совѣтникъ. Но окончательно повредила намъ не она, а отставной офицеръ Боровко.

Боровко былъ „вродѣ“ какъ политическій“. На самомъ дѣлѣ онъ былъ „благородной души“ офицеръ, слабый разумомъ и дерзкій характеромъ. Характеръ этотъ созрѣлъ и развернулся въ Польшѣ, гдѣ стоялъ эскадронъ Боровка. Это было послѣ мятежа, т.-е. въ такое время, когда „блаародному русскому офицеру самъ чортъ былъ не братъ“. И глупый Боровко безобразничалъ тамъ, какъ хотѣлъ. Это сходило съ рукъ, пока онъ не выкинулъ штуки надъ купцомъ-милліонеромъ, поставщикомъ овса на эскадронъ. Боровко заманилъ „жида“ на эскадронный дворъ, привязалъ его къ столбу, у котораго чистятъ лошадей, и велѣлъ всѣмъ солдатамъ плевать ему въ лицо. Это казалось невинной шуткой. Но полковникъ былъ въ дружбѣ съ поставщикомъ, и Боровка перевелъ на Кавказъ.

Тамъ онъ тоже дурилъ и пьянствовалъ и дебоширилъ и, наконецъ, додебоширился до настоящей уголовщины. „Армяшка“, которому онъ былъ долженъ, вздумалъ срамить его на базарѣ. Боровко выстрѣлилъ и убилъ человѣка. За это его отчислили въ запасъ. Это значило потерять общественное положеніе,—вѣдь работать онъ не умѣлъ. Поступилъ въ полицію, — прогнали. Во кондуктора, — прогнали. Спускаясь все ниже, онъ таскалъ кули въ Баку, но больше пьянствовалъ, обыгрывая дураковъ въ духанахъ, и дебоширилъ, дебоширилъ...

Кончилось тѣмъ, что пьяный, въ участкѣ, онъ побилъ полицейскаго, разбилъ зеркало и „говорилъ бранныя слова“ на Государя. За это его сослали административно на сѣверъ, какъ государственнаго преступника.

Въ ссылкѣ онъ былъ карой исправниковъ и мученіемъ для политическихъ ссыльныхъ. Жалкій, пропившійся, потерявшій образъ Божій, онъ скандальничалъ во всѣхъ городишкахъ, куда его пересылали, и обивалъ пороги политическихъ ссыльныхъ. Въ большихъ городахъ свободные люди проходятъ мимо такихъ „бывшихъ людей“. Но въ ссылкѣ это сдѣлать трудно. Трудно человеку угнетенному, выгнать на 50-градусный морозъ полураздѣтаго пьяницу; и ночуетъ онъ у „товарища“, и кормится, и сквернословить.

Но общеніе и общее имя создаетъ круговую поруку. И невольная круговая порука связала насъ съ бывшимъ офицеромъ, плевавшимъ въ „жида“, и стрѣлявшимъ въ „армяшку“.

— Еще называетесь образованные люди,—явилъ насъ Портнягинъ,—а выходитъ, что пьяный остякъ вашихъ безобразіевъ постыдится! Иду сегодня отъ обѣдни, а Боровко,—Боже ты мой!—на кого похожъ! Отправилъ мерзавца въ клоповникъ. А все: „прогрессъ“! „наука“! Срамъ!

Мы лишены были возможности провести между нами и Боровко демаркаціонную линію, — вѣдь титулъ у насъ былъ общій. Онъ же день ото дня велъ себя гнуснѣе и проявлялъ неистощимую изобрѣтательность въ дѣлѣ оскорбленія полиціи; поэтому нашъ засѣдатель имѣлъ

возможность ежемѣсячно писать губернатору, что „политическіе“ ведутъ непотребный образъ жизни, буйствуютъ, бьютъ городскихъ, развращаютъ населеніе и т. д. Отъ губернатора шли приказы, грознѣй одинъ другого, и каждое „наше“ столкновеніе съ Портнягинымъ, какъ бы корректно и разумно оно ни было, благодаря примѣси „боровковщины“, превращалось въ возмутительный скандалъ и влекло за собой арестъ на 7 сутокъ, высылку въ погосты изъ 3-хъ дворовъ, лишеніе „казеннаго пособія“, и миллионъ тѣхъ мелкихъ прижимокъ, которыя во власти „власти“ за полярнымъ кругомъ.

Хорошо было мечтать объ общемъ благѣ, о счастіи народа, о свободѣ. Хорошо было чувствовать себя борцомъ за великое дѣло. Гордостью наполнялось юное сердце, получавшее право говорить:

„Иду дорогою свободной,

Куда влечетъ меня свободный умъ„.

Чистымъ и благороднымъ гнѣвомъ горѣла душа, когда въ ней зрѣли рѣшенія, послѣдствіемъ которыхъ былъ Обдорскъ.

Но отвратительно, до омерзѣнія отвратительно было бродить потомъ долгіе годы, лучшіе годы юности, въ грязи, созданной либерализмомъ Портнягина и безчинствомъ Боровко, долгіе годы тратить силы на то, чтобы отстоять свою душу отъ разъѣдающей грязи мелкихъ столкновений съ мелкими, но въ нашихъ условіяхъ, сильными людьми.

Какъ звѣри въ клѣткѣ, съ тоской и злобой,

съ унижительной скукой влачили мы дни за днями. Холодная пустыня окружала насъ на тысячи верстъ вокругъ. Вѣчная ночь повисла надъ нами. Голодъ и бездѣлье грызли годъ за годомъ. И годъ за годомъ грызъ и пилилъ насъ нашъ либерально-строгій законникъ:

— Ежели бы вы по закону, какъ прилично образованнымъ людямъ. Но вы отъ всего отреклись: отъ Бога и Государя, отъ приличной жизни. Вотъ, къ примѣру, ономнясь Боровко... Нѣтъ, никакъ вамъ невозможно давать свободу. Каждый день извольте являться въ полицію...

Я не являюсь, и—протоколы, доносы, вторженія городскихъ безъ конца, безъ перерыва. Ни одного спокойнаго дня!

— Вы себѣ позволяете, и я себѣ позволяю!

Товарищъ Зотовъ сидѣлъ однажды за сапожнымъ верстакомъ, сидѣлъ и рѣзалъ подошву. Потомъ размахнулся и всадилъ себѣ ножъ въ сердце.

Товарищъ Шаховъ сошелъ съ ума и въ глухія, безконечныя ночи оглашалъ глухими, безконечными воплями черныя, кривыя стѣны своей избы. Потомъ повѣсился. Другіе—пили

А ржавый голосъ трезваго засѣдателя пилилъ:

— Позвольте, какъ же мнѣ васъ отпустить въ Лампожню? Еще скандалъ какой сдѣлаете. Что жъ, я и самъ рюмку передъ щами... Но чтобъ, какъ Боровко...

Да! И весь этотъ страшный сонъ прошелъ. Давно лежать въ мерзлой тундрѣ мертвыя кости нашихъ мучителей. Духъ же ихъ всегда

вѣдь былъ мертвъ, и скоро будутъ забыты ихъ имена, если мы не увѣковѣчимъ ихъ нашими письменами.

А мы, то великое собирательное цѣлое, которое десятилѣтіями изнывало въ мерзлыхъ дебряхъ, проклятыхъ людьми и Богомъ, мы живы, и, глядя на шумящія надъ головами черныя тучи, мы оглядываемся на пріобрѣтенную нами страну, на наши великія завоеванія. Они поистинѣ велики и неотъемлемы. Пусть встанутъ изъ могилъ всѣ черныя тѣни минувшаго, чтобы помочь чернымъ тѣнямъ настоящаго: никогда не отнимутъ онѣ у народа его проснувшейся мысли, его любви къ свободѣ, свободнаго пути къ свободной жизни, выстраданнаго имъ и нами.

Вы были. И ушли побѣжденные. И такъ же уйдете вновь въ ваши черныя щели. Я это знаю.

1-ое Своевременное размышление.

Видали вы когда-нибудь землю и море послѣ хорошенькой бури?

На землѣ, гдѣ все крѣпко и прочно, гдѣ дома на каменныхъ фундаментахъ, трубы сдѣланы изъ кирпича, деревья стоятъ, вцѣпившись въ почву десятками крѣпкихъ корней,—вы увидите ужасающій безпорядокъ. Дома безъ крышъ. Иногда въ развалинахъ. Деревья вверхъ корнями. Всюду соръ. На берегу остатки кораблей, водоросли, тина, всякая морская дрянь.

А на морѣ—только гладкіе, круглые блестящіе валы съ косматой гривой на хребтахъ, и только кое гдѣ плавающіе обломки. Пройдетъ день или другой. Обломки уйдутъ на дно, подъ поверхность коварной, измѣннической стихіи, и успокоенное море вновь блеститъ и сверкаетъ, смѣющееся и ясное, подъ лучами вѣчнаго солнца.

Другое дѣло на землѣ. Долго должны бродить тамъ люди съ метлами, лопатами и ломами, приводя въ порядокъ, убирая руины и подметая соръ. Долго должны они вновь строить и украшать изуродованное лицо матери-земли!..

На надо поэтому удивляться тому, что пронесшаяся надъ нами общественная буря произ-

вела наибольший беспорядокъ и оставила глубочайшіе слѣды разрушенія именно въ умахъ сторонниковъ порядка, въ умахъ защитниковъ неизмѣнности государственныхъ и социальныхъ учреждений. Люди, строящіе изъ камня, на вѣки, консервативные элементы общества, люди „порядка“—не могли не потерпѣть всего болѣе отъ налетѣвшаго общественнаго шквала.

Коварная же и измѣнчивая среда „людей движенія“, съ такимъ азартомъ отплясывавшихъ свою революціонную сарабанду подъ вой историческихъ вѣтровъ,—она, конечно еще волнуется и плещетъ о берега,—но завтра гладкая, нагло-безстыдная, она вновь будетъ блистать всеми цвѣтами радуги и спокойно отражать небо и солнце,—до новой бури!

Такова печальная судьба всего добраго и прочнаго. Оно обречено на страданье! Не будемъ, однако, унывать. Возьмемъ метлу и уберемъ соръ. Прежде всего очистимъ берегъ отъ морской дряни, отъ гнѣющихъ водорослей, отъ тины, которую измѣнническая стихія выбросила на землю, гдѣ все должно быть прочно, крѣпко, чисто и здорово.

Возьмемъ метлу, и освободимъ умы людей порядка отъ тѣхъ зловредныхъ гнилыхъ идей, которыя привила имъ пережитая нами революція. Едва ли это будетъ трудно, такъ какъ это—чуждая, наносная идея.

Къ нимъ я причисляю, прежде всего, идею желательности „работоспособной“ Думы.

Я понималъ бы, если бы о работоспособной

Думѣ вздыхали революціонеры, тѣ, которые хотѣтъ все измѣнить, все разрушить, все вновь перестроить, тѣ, кто хочетъ вѣчно строить, вѣчно перестраивать, ломать и вновь воздвигать, словомъ—„люди движенія“. Для нихъ государственное и социальное тѣло, это—какое-то *regretuum mobile*, вѣчно вращающееся, измѣняющееся, развивающееся выраженіе безпокойно и неустанно работающей человѣческой мысли. Для нихъ не существуетъ прошлаго, имъ не дороги завѣты исторіи, имъ ненавистны неподвижныя и прочныя основы. Съ глазами, дико устремленными впередъ, безъ усталы, какъ волны измѣнчиваго моря, рады они катиться къ невѣдомымъ берегамъ, одѣтымъ завѣсой историческихъ тумановъ.

Да. Для нихъ, для этихъ фантастовъ и безумцевъ, работоспособная Дума имѣетъ значеніе. Оттого-то кадеты и хвастаются, будто они въ своихъ комиссіяхъ надѣлали столько проектовъ, подготовили столько законовъ, что отъ добраго стараго зданія нашей государственности не осталось даже какого-нибудь балаганчика, гдѣ бы могъ преклонить свою голову огорченный патриотъ. Они—„работали!“

Но для тѣхъ, кто не охваченъ безумной жаждой перемѣнъ, кто любитъ свой стары домъ, свой славны стары домъ, въ которомъ онъ покойно и прочно жилъ такъ долго,—не нужно работоспособной Думы. Ужъ если безъ Думы никакъ нельзя, то Дума нужна неработоспособная. Т.е. такая, которая ничего не могла бы ни измѣнить, ни перестроить, ни передѣлать.

Лозунгомъ истинныхъ друзей порядка, истинныхъ консерваторовъ, тѣхъ, кто хотѣлъ бы увещать дорогое намъ отечество на основахъ, завѣданныхъ намъ исторіей, кому дороги извѣстные три кита, служащіе опорой русской землѣ, кто желалъ бы, чтобы и наша социальнo-экономическая структура осталась неизмѣнна, чтобы дворянинъ уважался, и въ помѣщичьей усадьбѣ можно было бы отдохнуть въ пріятной бесѣдѣ съ милой хозяйкой за обильною трапезою,—лозунгомъ ихъ должны являться два слова: „безъ перемѣнъ“.

Безъ перемѣнъ. Все по-старому. Все какъ было.

Задача мудраго правительства только въ томъ и заключается, чтобы блюсти установленный исторіей порядокъ, чтобы сохранять все въ неизмѣнности, чтобы наблюдать за неприкосновенностью историческихъ святынь.

Слава Богу, и въ наши конституціонные дни никакая реформа, никакая перемѣна не можетъ быть совершена безъ согласія правительства. Слава Богу, наше правительство достаточно сильно, чтобы не допустить никакихъ реформъ и перемѣнъ. Зачѣмъ же ему работоспособная Дума? Работа Думы, это—реформы. Зачѣмъ понадобились правительству реформы, т. е. измѣненія и перемѣны въ вѣкахъ установленномъ общественно-политическомъ строѣ.

Развѣ у насъ нѣтъ опыта? Вспомнимъ.

Была, вѣдь, у насъ „эпоха великихъ реформъ“—шестидесятые годы. Освободили крестьянъ,—и дали толчекъ „освободительнымъ идеямъ“, съ

которыми потомъ пришлось бороться всей силой, имѣвшей у государства; и тѣмъ не менѣ уступить. Въ результатъ—„освободительное движеніе“.

Надѣлили крестьянъ землей,—и создали прецедентъ для „принудительнаго отчужденія„!

Не даромъ въ 80-е годы, когда здравыя идеи пользовались временнымъ престижемъ, весьма авторитетный голосъ объявилъ освобожденіе крестьянъ „печальной ошибкой“.

А земства? Гонялись за содѣйствіемъ общества правительству, и вырастили себѣ врага, котораго тридцать лѣтъ пришлось потомъ давить и жать и выжать изъ него земскіе съѣзды 1905 и 1906 годовъ!

Судъ присяжныхъ, судъ совѣсти? Не знали, куда уйти отъ этой совѣсти, распутной совѣсти распутнаго народа, и пришлось добрые старые послушные суды замѣнить полевой юстиціей. Неужели стоило мѣнять одно на другое?

Община? Ее насильственно насаждали. И не знаютъ теперь, какъ стереть съ лица земли...

Нужды сельско-хозяйственной промышленно-сти? Развѣ не изъ нея родились тѣ уѣздные парламенты, съ которыхъ началась смута?

Наконецъ, 5 свободъ и сама Дума. Развѣ не направлены теперь всѣ усилія на то, чтобы парализовать неожиданныя и непредвидѣнныя послѣдствія свободъ и самаго народнаго представительства?

Говорятъ, свободами злоупотребили! Злоупотребили! Хотѣлъ бы я знать, какое доброе упот-

ребленіе могли бы изъ нихъ сдѣлать? Нѣтъ, не злоупотребили, а примѣнили, и зло проистекло не изъ порочности людей, а изъ самаго существа свободы. Но такое же зло возникло и изъ освобожденія крестьянъ, и изъ реформъ судебной и земской, изъ защиты общины, и возникнетъ изъ ея упраздненія.

Развѣ не слѣдуетъ отсюда, что зло возникаетъ изъ реформы, какъ таковой? Реформа — ломка. Она объявляетъ отжившимъ и нѣгоднымъ тотъ или иной устой. Она ставитъ новыя цѣли. А вѣчно ищущая мысль-разрушительница, подчиняясь данному реформой толчку,—идетъ дальше цѣли, намѣчаетъ новыя цѣли, требуетъ новыхъ реформъ. Тогда кричатъ: злоупотребленіе!

А я отвѣчаю: соблазны! Соблазнили малыхъ сихъ и хотите за это ввергнуть ихъ въ море. Но въ писаніи сказано, что въ море подобаетъ ввергнуться соблазнителю.

Не соблазняй. Не реформируй. Живи въ старомъ домѣ. Смирно! Иначе утонешь въ морѣ, въ измѣнчивой и коварной стихіи революціи.

У идей есть своя логика, и работоспособная Дума, работая надъ одной маленькой реформой за другой, перейдетъ неминуемо къ большимъ, раскачаетъ всѣ основы, привлечетъ гражданамъ вкусы, несоотвѣтственные цѣлямъ прочнаго порядка.

И это безотносительно къ тому, въ какомъ направленіи будетъ работать Дума. Пусть будетъ

черносотенная Дума, пускай ломаетъ и реформируетъ назадъ. Всѣ дороги ведутъ въ Римъ, и по черной дорожкѣ идутъ такъ же легко туда, гдѣ „стоятъ красные сапожки“. Это должно помнить.

Дума должна быть, въ интересахъ консервативныхъ элементовъ, нерабогоспособной. Поэтому пусть она будетъ совѣщательной.

Пусть въ Думу—„совѣтницу“ ѣздить „совѣщаться“—статскіе, дѣйствительные статскіе, тайные и дѣйствительный тайные „совѣтники“. Пусть совѣщаются безъ конца и обо всѣмъ. Пусть противорѣчатъ и спорятъ сколько хотятъ.

Пусть Дума совѣщается въ комиссіяхъ, съ Совѣтомъ. Пусть совѣщаются „старѣйшія дѣятели“ одни и съ кабинетомъ. Совѣщайтесь какъ можно больше. Если можно, привлечите къ совѣщаніямъ еще кого-нибудь. Чѣмъ больше—тѣмъ лучше; чѣмъ дольше—тѣмъ пріятнѣе. Какъ встарь. Въ ваше лучшее время.

И мы будемъ спокойны, что изъ многихъ и долгихъ совѣщаній не родится дѣйствій, не истечетъ реформъ, опасныхъ перемѣнъ, измѣнъ завѣтамъ. И нашъ старый славный домъ, гдѣ такъ славно спалось намъ, господамъ вчерашняго дня, будетъ долго еще служить намъ пріютомъ и давать душевную отраду.

Усвойте, друзья мои, этотъ мудрый строй мыслей. Иначе идеи, выкинутыя на берегъ революціонной бурей и подобранныя вами, идеи о ре-

формахъ, осуществляемыхъ работоспособной Думой, приведутъ васъ туда, куда приходило ужъ не одно консервативное правительство.

Развѣ во Франціи не цвѣли бѣлыя лиліи, и въ Англіи или Италіи и даже въ Австріи не было доконституціоннаго періода?..

2-ое Своевременное размышленіе.

Я думая, не мнѣ одному надоѣлъ этотъ страшный безпорядокъ. И самое худшее въ немъ то, что ему не видно конца. Стоитъ прочитатъ одинъ только нумеръ любой газеты, чтобы увидѣть, что разговоры о „наступающемъ успокоеніи“ совершенно праздные разговоры. Никакого успокоенія нѣтъ,—и нѣтъ потому, что люди отравлены той прививкой „свободы“, которую имъ сдѣлали два года тому назадъ.

И вотъ, они ходятъ теперь, какъ бѣшеные, съ глазами, мутными отъ злобы, и съ пѣною у рта ругаютъ и кусаютъ все, что можно и чего нельзя.

Осталось ли что-нибудь не поруганное и не осмѣянное? Историческія традиции и завѣты? Нравственныя предписанія? Религія? Государственность? Соціальный порядокъ? Все втоптано въ грязь, отъ всего остались одни лохмотья...

Такъ жить нельзя.

„Люди порядка“ полагаютъ, что немножко времени и немножко нагайки—и все придетъ, тоже понемножку, въ порядокъ. Это—иллюзія. Въ лучшемъ случаѣ болѣзнь скроется внутрь, притаится, какъ змѣя подъ розой, чтобы вѣрнѣе нанести смертельную рану. Въ лучшемъ случаѣ она уйдетъ въ глубь соціальной души, чтобы созрѣть тамъ, выноситься тамъ, и въ удобную минуту съ новой силой охватить соціальное тѣло.

Либералы думаютъ, или притворяются, что думаютъ, будто отвѣтственность министровъ, неприкосновенность личности, правовой строй и подобныя выдумки прекраснодушныхъ людей прекратятъ анархію. Но, мой Богъ, тогда-то она и начнется!

— Мало!—скажутъ тогда всѣ.

И такъ какъ либералы принуждены будутъ въ отвѣтъ сдѣлать галантную улыбку и запросить „общественное мнѣніе“ о томъ, чего же, собственно, оно желаетъ еще, то всѣ начнутъ кричать:

— Подавай того, подавай другого, передѣлаемъ это, передѣлаемъ то!—и не найдется такого волшебника, который указалъ бы равнодѣйствующую всѣхъ противорѣчивыхъ желаній.

А если бы такая равнодѣйствующая и нашлась,—на ней никто не помирился бы. Всѣмъ нужны „реальныя блага“, а не математическая фикція, не какая-то ариѳметическая средняя.

Мало утѣшенія принесла бы и побѣда демократіи. Во-первыхъ, аристократы были бы обижены, и буржуа негодовали бы. Во-вторыхъ, демократія, — что такое демократія? Станьте въ

верстѣ отъ лѣса, и онъ покажется вамъ однородной сине-зеленой массой. Но войдите въ лѣсъ, и вы увидите, какъ высокія деревья глушатъ кусты и низкую поросль, какъ подъ кустами прѣютъ травы, какъ на свалившихся великанахъ растутъ грибы и губки. Нѣтъ, демократія не принесетъ намъ мира. Борьба классовъ, борьба народовъ, борьба религій, борьба невѣрія съ вѣрой, социалисты, коммунисты, анархисты. Развѣ это не сплошная поножевщина? Мечтатели толкуютъ, что изъ этого хаоса есть выходъ, и что выходъ этотъ укажетъ разумъ.

Разумъ, говорятъ они, даетъ мѣру и цѣну вещамъ, отсѣкаетъ крайности, утишаетъ страсти, приводитъ міръ и жизнь въ равновѣсіе. Но скажите, какая разница между этими мечтательными рационалистами и тѣми тривиальными эмпириками, вся философія которыхъ исчерпывается поговоркой:

— Перемелется,—мука будетъ.

Я различія не вижу. И тѣ и другіе мелютъ и не видятъ, что жернова исторіи перетираютъ живое человѣческое тѣло, и что изъ подъ камня бѣжитъ не мука, а кровь.

Пора противопоставить этой дряблой мысли, освѣщающей кровавую дѣйствительность, божественно-простую, какъ солнце ясную и, какъ хрусталь чистую идею, способную сдѣлать жизнь сладкой, радостной и прекрасной. Пора договорить до конца то, что теперь невнятнымъ лепетомъ сходитъ съ устъ людей порядка:

— Источникъ бѣдствій—разумъ. Онъ—отецъ свободы, свобода же—родитъ анархію.

Разобъемъ алтари ложныхъ боговъ. Развѣнчаемъ самозванныхъ властителей. Перестанемъ, наконецъ, приносить кровавыя жертвы развратителю-разуму и волчицѣ-свободѣ!

Каждое правильно составленное разсужденіе, послѣ введенія ставитъ тезисъ, затѣмъ приводитъ доказательства, потомъ выводитъ заключеніе. Бываетъ и патетическая часть,—то отдѣльно, въ видѣ большого алмаза, передъ заключеніемъ,—то въ видѣ алмазной пыли, покрывающей всѣ части разсужденія.

Введеніе мы сдѣлали, тезисъ поставили. Перейдемъ же къ доказательствамъ, посыпавъ ихъ патетической пылью:

Мы, конечно, могли бы сосредоточить свое вниманіе на томъ соображеніи, что разумъ есть око души, съ помощью котораго распознаются недостатки государственныхъ и общественныхъ учрежденій, правителей и начальниковъ, религій и нравственныхъ ученій,—что и служитъ къ соблазну „малыхъ силъ“. Мы могли бы далѣе сослаться на евангельское изреченіе: „аще соблазняетъ тебя глазъ твой“ и т. д.

Но не будетъ ли убѣдительнѣе, если мы обратимся не къ умозрительнымъ, а къ эмпирическимъ доказательствамъ?

Еще дѣды наши, хотя они познавали истину только въ прообразахъ и иносказаніяхъ, утверждали, что ученье—тьма, а неученье—свѣтъ. Почему и сами своихъ дѣтей учили малому и на-

родъ, отданный ихъ попеченію, держали въ невѣжествѣ.

Этой же системы придерживались и всѣ благомыслящіе государственные люди до самаго послѣдняго времени. Вспомнимъ изъ стариковъ хотя бы кн. Голицына, Шишкова, Аскоченскаго, Фотія. Изъ новыхъ—гр. Д. Толстого, Побѣдоносцева. Вотъ почему и въ школахъ и въ университетахъ знаніе, это „необходимое зло“, сообщалось въ умѣренныхъ дозахъ, правила же нравственности и добраго поведенія—*ad libitum*!

Вотъ почему воздвигли стѣны и барьеры противъ орудій мысли,—противъ книгъ, журналовъ и газетъ. Ужъ если нельзя ихъ уничтожить совсѣмъ, то пусть, по пути къ человѣческимъ умамъ, они хотя сломаютъ себѣ ноги на барьерахъ и пробьютъ лбы о стѣны!

И былъ поэтому въ нашей странѣ относительный покой и порядокъ, относительное подчиненіе и благополучіе.

Считаю, такимъ образомъ, мой тезисъ доказаннымъ.

Цѣлая поколѣнія нашихъ предковъ и нашихъ государственныхъ дѣятелей вели неустанную борьбу съ разумомъ и его разрушительной дѣятельностью, потому что считали его вредной силой. Пожелаемъ ли быть умнѣе отцовъ нашихъ?!

Однако, должно признать, что вся эта похвальная дѣятельность не принесла желанныхъ результатовъ.

Духъ анализа, духъ критики и осужденія проникалъ, какъ тайный ядъ, какъ тонкій газъ,

черезъ всѣ преграды; разрушалъ всѣ брони; въѣдался въ умы и души; будилъ въ первыхъ жажду улучшеній, во вторыхъ жажду свободы. Отсюда—это сплошное отрицаніе всего, чѣмъ крѣпко было до сихъ поръ наше общество и наше государство; отсюда—духъ бунта; отсюда, наконецъ,—та дерзость, съ которой нынѣ всякое ничтожество судить обо всемъ въ мірѣ. Любой мужикъ, любой слесарь мечтаетъ теперь, какъ извѣстно, о социальныхъ переворотахъ!

Не удивительно, что благомыслящіе дѣятели ведутъ въ наши дни отчаянную борьбу съ этимъ бѣдственнымъ состояніемъ умовъ. Ремонтируютъ старые барьеры, спѣшно возводятъ новые, невиданные, грандіозные, какъ башня вавилонская.

Увы,—мы должны сознаться, что и ихъ усилія окажутся безплодными. Злобныя внушенія разума, какъ ржа, источать желѣзо; съ почвенными водами просочатся подъ стѣнами; на крыльяхъ вѣтра пронесутся надъ нами. Гарантированы ли мы, наконецъ, что среди каменщиковъ нѣтъ предателей, среди землекоповъ и инженеровъ—нѣтъ измѣнниковъ?

Съ грустью жду я крушенія всѣхъ надеждъ и расчетовъ благородныхъ строителей стѣны, которая должна оградить „нашъ добрый и славный народъ“ отъ духа времени. Тѣмъ болѣе, что, говоря откровенно, народъ давно не добръ...

Итакъ, цѣли благородны, замыселъ вѣренъ,—средства негодны.

Передъ нами задача: найти вѣрнодѣйствующія средства...

Я полагаю, что нѣтъ удара губительнѣе того, который нанесенъ мечомъ, отточеннымъ на насъ врагомъ нашимъ.

Выведемъ мечъ этотъ изъ рукъ разума и нанесемъ ему губительный ударъ!

Наукой установлено, что сѣдалищемъ разума являются поверхностные слои большого мозга, — органа, необходимаго для мышленія, но совершенно ненужнаго для покойной, добродѣтельной жизни, для работы и размноженія.

Дѣлали опыты; вырѣзали цѣликомъ большія полушарія голубю. Онъ жилъ прекрасно, твердо „сидѣлъ на своемъ шесткѣ“, ѣлъ, когда ему давали пищу, и леталъ, когда его бросали въ воздухъ. Онъ, правда, совсѣмъ былъ лишенъ воли, и въ этомъ есть неудобство. Нельзя каждаго мужика кормить изъ ложки и ставить на работу.

Было бы цѣлесообразнѣе поэтому вырѣзать у людей не весь большой мозгъ, а тѣ его части, гдѣ протекаетъ процессъ ассоціаціи идей, сближеній, сравненій, а слѣдовательно, и осужденій. Психомоторные центры должно оставить. Нужно внести только такое разрушеніе въ мозговую кору, которое сдѣлало бы невозможнымъ отвлеченное мышленіе, дѣятельность критицизирующаго разума.

Вотъ благородная задача для благомыслящихъ людей науки и хирургическаго искусства. Умственная кастрація!

Вотъ средство радикальнаго рѣшенія задачи, надъ которой безуспѣшно бьются тысячи благо-

мыслящихъ гражданъ и сотни патріотически
мыслящихъ государственныхъ людей.

Нельзя лишить власти надъ людьми духъ
времени. Духъ есть духъ и пребываетъ тамъ,
„гдѣ хочетъ“,—конечно, пока онъ живъ.

Но убить духъ можно, и вмѣстѣ съ тѣмъ
умретъ и духъ времени, духъ свободы, непови-
новенія, неумѣренныхъ желаній, жажды реформъ
и перемѣнъ,—все, что носить собирательное имя
революціи.

А если это можно сдѣлать, то и должно.

Какъ усовершенствовалась бы и измѣнилась
тогда наша жизнь! Дѣло представляется мнѣ въ
такомъ видѣ:

Сто сорокъ тысячъ благороднѣйшихъ се-
мействъ, застрахованныхъ самымъ положеніемъ
своимъ,—привилегированнымъ положеніемъ,—
отъ жажды перемѣнъ и отъ духа критики,—за-
чѣмъ критиковать прекрасное?..—господствовали
бы надъ страной, и обладали бы неурѣзанной
способностью понимать.

Сто сорокъ миллионовъ, получивъ низшее
техническое образованіе и техническіе навыки,
примѣрно въ двѣнадцатилѣтнемъ возрастѣ, иногда
позднѣе, въ зависимости отъ момента пробуж-
денія къ дѣятельности высшихъ функцій мозга,
подвергались бы „мозговому обрѣзанію“, и про-
должали бы жизнь въ видѣ скромныхъ, послуш-
ныхъ и трудолюбивыхъ поселянъ—землепашцевъ,
рачительныхъ ремесленниковъ и свободныхъ отъ

неумѣренныхъ желаній фабрично-заводскихъ рабочихъ.

Прекратились бы общественныя волненія; сдѣлались бы невозможными революціи; излишними законы о равноправіи, о конституціи; умолкли бы требованія министерской отвѣтственности. Никто не критиковалъ бы правительство. Никто не замышлялъ бы соціальныхъ переворотовъ. Въ деревняхъ молчали бы о землѣ, на фабрикахъ о 8-часовомъ рабочемъ днѣ. Исчезли бы сектанты, и евреи не кричали бы о чертѣ осѣдлости. Не нужно было бы положенія объ охранахъ, и сдѣлались бы излишними военные суды. Ни экспроприаций, ни стачекъ, ни той нескончаемой гражданской войны, которая разрушаетъ богатства страны, накопленныя трудами поколѣній.

Скромно и послушно паслось бы на землѣ двуное стадо умственныхъ мериновъ,—работая, когда приказано, мирно предаваясь дозволеннымъ радостямъ, когда это соотвѣтствуетъ видамъ начальства. А въ остальное время—покойно отдыхая отъ трудовъ и отъ радостей.

А надъ ними сто сорокъ тысячъ брагродныхъ семей-владельцевъ жили бы на утѣшеніе себѣ и на славу любезному отечеству. Какая это была бы божественная жизнь! Спокойная и счастливая, увѣренная въ завтрашнемъ днѣ и обеспеченная!..

Быть можетъ, конечно, организація труда ста сорока милліоннаго стада потребовала бы усиленныхъ заботъ. Но и заботы эти давали бы

чувство удовлетворенія, такъ какъ послушное стадо работало бы исправно и безпрекословно исполняло бы предписанное. Возрастаѣли бы богатства, повышалась культура, и мечта о сверхъ-человѣкѣ была бы, быть можетъ, близка къ осуществленію.

Новый типъ радостнаго, могучаго и утонченнаго человѣка появился бы на землѣ, благодаря трудамъ спокойныхъ, довольныхъ, нетребовательныхъ и сытыхъ оперированныхъ рабовъ.

Намъ остается рассмотреть одинъ вопросъ: осуществимъ ли этотъ планъ?

На первый взглядъ можетъ казаться, что не осуществимъ. 140 милліоновъ могутъ отказаться. Могутъ пожелать сохранить въ неприкосновенности свой органъ мысли. Могутъ оказать сопротивленіе операторамъ.

Но, Боже мой! мало ли чего люди не хотятъ дѣлать—и дѣлаютъ. Мало ли чѣмъ дорожатъ они—и чѣмъ принуждены поступиться? И если свобода, слова, свобода собраний, такъ называемыя конституціонныя права личности, какъ это показываетъ опытъ,—отъемлемы, то почему должно считать неотъемлемой способность мыслить? Потому, что она не можетъ быть взята безъ физическаго принужденія въ тѣснѣйшемъ смыслѣ слова, безъ помощи хирургическаго ножа? Но, право, безъ него, какъ свидѣтельствуемъ тотъ же опытъ, не можетъ быть осуществлена и не осуществляется ни одна спасительная реформа.

Итакъ, нашъ планъ на пути своего осуществленія встрѣтитъ не больше трудностей, чѣмъ любое спасительное мѣропріятіе, практикуемое нынѣ. Въ сочувствіи привилегированной части населенія можно не сомнѣваться. Но если такъ, то зачѣмъ остановка?

Единственно за способностью къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ. Всѣ привыкли тянуть и мямлить, рассчитывая, что какъ-нибудь все сдѣлается само, все само собою устроится. Робость лѣнивыхъ, косность трусовъ, боязнь „общественнаго мнѣнія“,—и потому ничего, кромѣ половинчатыхъ мѣръ, кромѣ ничего не достигающихъ, но способныхъ всѣхъ раздражать угрозъ, уколовъ мелкихъ ранъ...

Развѣ такъ поступаютъ богатыри мысли и дѣла?

Они бросаютъ въ міръ ясные, откровенные и простые лозунги. Они провозглашаютъ открыто, на площади:

— Да здравствуетъ рабство, единственный устой порядка!

— Да погибнетъ разумъ,—разрушитель и развратитель!

И затѣмъ слѣдуютъ этимъ лозунгамъ твердо и прямолинейно.

Друзья мои! Съ грустью свидѣтельствую, что не вижу въ современникахъ моихъ такой готовности. Маленькіе люди!

Но не теряйте надежды. „Они подрастутъ“. И такъ какъ они сказали „а“, то скажутъ и „з“.

Какая прекрасная жизнь потечетъ тогда по землѣ...

Ну, а если у нихъ не хватитъ смѣлости мысли и рѣшительности дѣлъ?

Тогда... Тогда, увы, они погибнутъ. Все мелкое погибаетъ. И это будетъ очень грустно. Такъ что даже камни заплачутъ. Не правда ли?

3-ье Своевременное размышленіе.

Въ моемъ второмъ „Своевременномъ размышленіи“ я привелъ соображенія, доказывающія, что общественный порядокъ не можетъ быть возстановленъ, пока общественное стадо не будетъ лишено способности разсуждать, и не будетъ обращено въ естественное и благое рабство.

Къ сожалѣнію, достаточно рѣшительныхъ шаговъ въ этомъ направленіи до сихъ поръ не сдѣлано, и человѣческое стадо стоитъ донинѣ въ темной и грязной долиинѣ у подножія Олимпа, мычить, шумить и кричить вверхъ:

— Реформы! Свобода!

Правда, кричать не всѣ. Многіе молчатъ; но зато думаютъ. Я доказалъ уже, что это—почти одно и тоже. Тотъ, кто сегодня думаетъ, завтра, навѣрное, закричитъ...

Въ древнія времена Олимпъ отвѣчалъ на дерзновенные вопли смертныхъ громами изъ тучъ.

Теперь этотъ громъ гремитъ изъ „Россіи“.

Насъ спрашиваютъ, пишетъ почтенная газета, отчего молчимъ мы о реформахъ? Но съ кѣмъ говорить? Съ тѣми немногими, кто стоитъ на

одной линіи съ нами, напр., съ совѣтомъ объединеннаго дворянства и еще кое съ кѣмъ,—мы все переговорили въ нашихъ гостиныхъ и кабинетахъ. А съ вами,—при этомъ „Россія“ дѣлаетъ сардоническую мину,—научитесь прилично вести себя,—тогда, быть можетъ, будутъ говорить и съ вами. Теперь же вы умѣете только скандалить. Вы скандалили въ одной и другой Думѣ, скандалите въ той тинѣ, въ которую васъ завела ваша глупость, и мы поэтому съ вами не говоримъ,—особенно о реформахъ!

Вы видите,—„Россія“ не согласна съ гр. Л. Толстымъ. Толстой полагаетъ, что скандалы дѣлаетъ ничтожное меньшинство. Съ одной стороны, безпутники, сбитые съ толку революционерами, съ другой—тѣ, кто за этими безпутниками не видитъ великаго, спокойнаго народа, въ великомъ спокойствіи совершающаго свое дѣло—великій и спокойный трудъ.

Это красиво. Но и невѣрно. И мы съ „Россіей“ знаемъ дѣло лучше. Конечно, народъ трудится. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ галдитъ и думаетъ. Не очень хорошо, не очень много думаетъ, но все-таки... Поэтому, какъ полагаетъ олимпійская газета, съ нимъ и нечего толковать. Достаточно его обуздать.

Поэтому, какъ полагаю я... я полагаю, что человѣческое стадо не въ состояніи придумать чего-нибудь новаго. Оно только въ тысячу первый разъ повторитъ старую исторію.

Не знаю, случилась ли она ранѣе. Но давно, очень давно, человѣческое стадо такъ же ревѣ-

ло около Олимпа, такъ же швыряло на священную вершину грязью, лѣзло черезъ пропасти, съ камня на камень, срываясь въ ущелья и погибая подъ ударами божественныхъ молній.

Это было тогда, когда Прометей, укравшій для людей частицу божественнаго огня, зажегъ въ ихъ дикихъ умахъ пламя мысли и въ ихъ звѣриномъ сердцѣ огонь свободы и смѣлыхъ желаній.

Точно такъ же, какъ и теперь, пламенѣлъ тогда Олимпъ яркими молніями. Удары грома, удары скалъ, рушившихся на дерзкихъ смертныхъ, отбили ихъ свирѣпый, но нестройный натискъ. Воръ-Прометей былъ прикованъ цѣпью къ горамъ Кавказа, и Олимпъ одѣлся тучею презрительнаго молчанія о... реформахъ.

Все было кончено, все вновь пришло какъ будто въ старый порядокъ. Но на бѣду у человѣческаго племени осталась искра отъ вспыхнувшего огня. Божественная по своей природѣ, она, благодаря несовершенству человеческого ума, разгорѣлась въ огонь лжеученій.

У Олимпа были, какъ извѣстно, плохіе сосѣди. Завистливыми глазами смотрѣли на него съ востока сладострастная Астарта и хищный Вааль. Съ юга, таинственно мерцая мистическими очами, глядѣла на него Изида, богиня ночи. И суровый Іегова говорилъ съ Синая; „Азъ есмь единъ...“

Всѣ эти голоса жадно воспринимало человеческое стадо, обиженное Олимпомъ, и ударялось въ лжеученія.

Иные же говорили:

— Боже мой, какъ ихъ много! И какъ это скучно, и какъ неудобно... Всѣ грозятъ, всѣ требуютъ себѣ и повиновенія. Давайте, друзья, уйдемъ отъ нихъ...

И тогда началось на Олимпѣ то, что Гейне назвалъ „Сумерками боговъ“. Сѣрые и мутныя вистѣли онѣ надъ священной горой, и обезкураженные олимпійцы уныло бродили въ охватывавшей ихъ все тѣснѣе мглѣ забвенія и человѣческаго равнодушія. А человѣческое стадо весело брело къ ложнымъ богамъ и туда, куда его звали скептики...

Это былъ полнѣйшій беспорядокъ, и вотъ тогда-то и сложилась олимпійская пословица: „порядокъ прежде всего“.

Тысячу разъ повторялась потомъ эта старая исторія. И всегда въ однѣхъ и тѣхъ же формахъ,—точно и боги, и смертные безсильны были придумать чтонибудь новое. Только все больше ликующаго, насмѣшливаго веселья—въ нестройныхъ кликахъ толпъ, разбѣгающихся отъ священныхъ алтарей къ капищамъ ложныхъ боговъ.

Пусть сверху падаютъ убійственныя молніи, пусть грозно рокошетъ громъ,—ему навстрѣчу все равно несется смѣхъ.

Наблюдая ихъ, богобоязненные старушки охаютъ.

— Свѣтопреставленіе, батюшка, свѣтопреставленіе!.. Кончаніе міру.

Грингмутъ вопить:

— Искоренить крамолу!

А „Россія“ облекается въ тогу убійственного презрѣнія. Точно чрезвычайно гордая провинціальная дѣвица, она сентенціозно заявляетъ:

— Оставьте, пожалуйста! Даже говорить съ вами не желаю!

О, Господи! Неужели приговоры испуганныхъ старушекъ, юродивыхъ, и разборчивыхъ невѣстъ способны остановить теченіе жизни!

Могучая, неотвратимая, какъ судьба, жизнь развѣнчивается всѣ мнимыя величія, ломаетъ кодули и издѣвается надъ тѣми, кто хочетъ, наперекоръ ей, властвовать надъ нею. Поэтому и говорилъ я: убейте въ корнѣ духовную жизнь народа, введите „обрѣзаніе мозга“!

Но если это неудобно, есть и другое средство устроить свою судьбу въ этомъ спѣшащемъ къ геенѣ мірѣ.

Это—уйти отъ міра. Отъ нашего испорченного міра: отрясти прахъ его отъ ногъ своихъ.

Пусть развращенное, распущенное людское стадо перегрызаетъ другъ другу горло, пусть зубоскалитъ на краю помойной ямы. Есть о чемъ заботиться „бла-ародному“ человѣку! Мало ли въ далекомъ морѣ „счастливыхъ острововъ“?—спрашиваетъ Ницше. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ мало на свѣтѣ прекрасныхъ мѣстъ, гдѣ человѣкъ, желающій жить по старинѣ, могъ бы устроиться прекрасно? Ихъ много. И если бы я былъ однимъ изъ тѣхъ, на комъ теперь лежитъ сокрушительное бремя, съ опасностью жизни, не зная покоя ни днемъ, ни ночью, устанавливать поря-

докъ въ мірѣ, ставшемъ вверхъ ногами,—я плюнулъ бы и сказалъ:

— Чортъ съ вами, друзья мои. Грызитесь.

Весь прекрасный міръ ждалъ бы меня и открывалъ свои объятія. Но я избралъ бы... Яву, золотую Яву, жемчужину Зондскихъ острововъ.

Впрочемъ я въ выборѣ не стѣсняю. Кто считаетъ Яву глухой провинціей, можетъ выбрать парижскіе бульвары, веселую Вѣну, рулетку Монте-Карло.

— Каждому—по его прихотямъ и вкусамъ! Такъ можетъ быть передѣлана для сильныхъ и богатыхъ извѣстная социалистическая формула.

Но я выбираю Яву. Тамъ сочеталось множество условий, дѣлающихъ жизнь пріятной: нравы, правительство, природа, — все благопріятствуетъ разумной, справедливой и счастливой жизни.

Начать съ правительства. Голландцами тамъ установленъ либеральный режимъ. Это удобно, это очень удобно. Подумайте только, какъ плохо живется теперь при „сильной власти“ какому-нибудь г. Лопухину или его beau-frère'у. Было время, г. Лопухинъ свирѣпствовалъ въ своемъ департаментѣ полиціи, ловилъ, сажалъ, разгонялъ собранія и съѣзды, уловлялъ крамолу. Теперь онъ самъ—крамольникъ, ходитъ по улицамъ только сумерками, прижимаясь къ стѣнѣ домовъ и трепещетъ передъ частнымъ приставомъ. Легко ли это?

А подъ управленіемъ либеральной голландской власти онъ носилъ бы весело свою голову, независимо отъ того, кто онъ въ самомъ дѣлѣ:

гнусный либераль временъ „Святополка-окаяннаго“, или доблестный сподвижникъ самого фонъ Плеве?

Второе,—на Явѣ можно завести себѣ рабовъ, бронзовыхъ малайцевъ, послушныхъ, смѣтливыхъ и ловкихъ.

Я управлялъ бы ими патріархально, безъ помощи законовъ, кого хотѣлъ бы миловалъ, кого хотѣлъ—казнилъ. И что бы я ни дѣлалъ,—они поэтому славилъ бы меня, мою мудрость и великодушіе.

И, наконецъ, природа! Райскій уголокъ, лучший въ мірѣ. Въ рощѣ миртъ и магнолій построилъ бы я замокъ, легкій и прекрасный, какъ мечта, и, окруженный тысячами моихъ рабовъ послушныхъ, я лежалъ бы въ гамакѣ и насмѣшливо смотрѣлъ бы на гнусную Европу, съ ея социализмомъ, конституціонализмомъ и остальными выдумками упадочнаго вѣка.

— Задыхайтесь въ вашихъ проклятыхъ каменныхъ городахъ, гните спину на фабрикахъ, въ дыму и копоти, занимайтесь политикой, свергайте министровъ и укрощайте бунтъ и революцію, — чортъ съ вами. — Такъ говорилъ бы я.

— Я лежу подъ своей магноліей, на моей прекрасной Явѣ. Прелестныя рабыни улаживаютъ мои взоры легкими танцами. Бронзовые рабы охраняютъ мой покой. Замороженный ананасъ веселитъ мою душу. И я смѣюсь надъ вами, проклятые! Ха-ха-ха-ха!

Переставая чувствовать себя обитателемъ Явы и обладателемъ тысячъ рабовъ, — я спрашиваю себя: а что бы стали чувствовать мы, подлые людишки съ подножія Олимпа?

Мы,—едва донесся бы до насъ смѣхъ съ острова Явы, мы, я увѣренъ, отвѣтили-бы ему восторженными кликами.

— Вы довольны? И мы тоже! Ха-ха-ха-ха!

И воцарилось бы на землѣ веселье, смѣхъ, божественный смѣхъ звучалъ бы отъ полюса до полюса, носился бы надъ морями и надъ землями,—и я надѣюсь, что даже шипящій Меньшиковъ, который на Явѣ былъ бы у меня смотрителемъ моихъ рабовъ, первый разъ въ жизни смѣялся бы счастливымъ смѣхомъ ребенка.

И было бы всѣмъ „добро зѣло“. Не правдали?

Побѣжденные.

Теперь, когда минули дни пережитыхъ нами бурь, когда всѣ пустые барабаны, натянутые ослиной кожей трещать о побѣдѣ и о конечномъ пораженіи враговъ, я задаюсь вопросомъ:

— Кто же побѣжденный?

Вѣдь въ этомъ все дѣло. Повидимому, побѣдило то сѣрое и благоразумное, злое и хищное, что недавно, въ дни бурь, сидѣло попрятавшись по щелямъ.

Оно сидѣло тамъ, испуганное, и караулило. Оно знало, что вырвавшіеся на свободу рабы не сумѣютъ „организовать побѣду“. Что они запутаются въ обрывкахъ старыхъ путъ, въ петляхъ новыхъ фантазій. И потому ждало своего часа, какъ паукъ ждетъ свою муху,—и когда этотъ часъ пришелъ, оно взяло барабанъ и трубу и огласило весь міръ старымъ, дѣдовскимъ „Громъ побѣды раздавайся“, а кстати ущемило ослабѣвшаго врага, вытянуло изъ него жилы и содрало кожу.

По старому правилу: Горе побѣжденнымъ!

Но для меня, сторонняго наблюдателя, здѣсь подозрительно одно: хорошій это, дѣдовскій гимнъ— „Громъ побѣды раздавайся“, и часто видѣлъ я сѣдыхъ стариковъ съ крашенными усами, въ ковровыхъ халатахъ, стоптанныхъ сафьянныхъ туфляхъ, засыпанной табачнымъ пепломъ грудью. Это они любагь въ хмурые осенніе дни бродить изъ угла въ уголъ и хриплымъ баскомъ распѣвать: „Громъ побѣды...“

Но, Боже мой, когда же это было, чтобы дряхлое, сѣдое, шлепающее туфлями дѣйствительно побѣждало?! Всегда оно было въ побитомъ полѣ, потому что побѣда—это цвѣтъ жизни, а цвѣтетъ только юность.

Горькой насмѣшкой всегда звучало для меня торжественное „Веселися храбрый россъ!“ Какое тамъ веселье, когда дни сочтены и неизвѣстно, кто дольше будетъ жить—самъ „веселящійся“ или его стоптанная сафьянная туфля?

Поэтому и теперь, когда я слышу о побѣдахъ и весельи россовъ, когда всѣ пустыя трубы протрубили мнѣ объ этомъ уши,—я плохо вѣрю, и думаю:

— Бѣдняга! И усы крашеные, и вата лѣзетъ изъ стараго халата, и курить онъ „Жукова“,—того самаго, чья фабрика закрыта пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ... Скоро, скоро тебѣ въ могилку, старый, „веселящійся“, бутафорскій россъ.

И развѣ свидѣтельствуютъ вытянутыя жилы о его силѣ? И развѣ трудно прищемить ротозѣю

дверями палецъ? Не только крашенный, но и злой старикашка, дрянной и старый злецъ, — только и всего.

Но побѣда,—въ чемъ должно ее видѣть?

Марковъ 2-ой и Дубровинъ увѣряютъ, будто она въ томъ, что опять все возстановлено. Реставрація! Но реставрація, это—всегда только крашенные усы, а иногда и того хуже.

Я помню, во времена моего дѣтства у насъ въ домѣ былъ знаменитый саксонскій сервизъ. Онъ былъ сдѣланъ на королевской саксонской фабрикѣ, говорятъ, во времена Станислава-Августа, для самого короля. И потому на днищѣ чайника, чашекъ и блюдецъ, рядомъ съ синимъ значкомъ, стояла корона. Потомъ изъ этого сервиза пилъ послѣдній польскій король Станиславъ Понятовскій. Потомъ мой прадѣдъ, шамбелянъ польскаго двора, увезъ его въ свой маентекъ, и тамъ онъ сто лѣтъ стоялъ на полкѣ, лишь по торжественнымъ днямъ совершая „большой выходъ“ на парадный обѣденный столъ. И тогда всѣ любовались тѣмъ, какъ храбрый рыцарь съ страусовымъ перомъ и шпагой обнимаетъ круглымъ жестомъ желтую даму въ фижмахъ, съ волосами, зачесанными на уши,—совсѣмъ какъ у присяжныхъ посѣтительницъ Художественнаго театра. Онъ обнимаетъ ее страстно, а дама сидитъ и смотритъ вдаль на жнецовъ съ такимъ невиннымъ видомъ, будто собираются цѣловать не ее, а тотъ старый дубъ, что шумитъ вѣтвями надъ нею и надъ тощею левреткой, съ одной нелѣпо поджатою ногой.

Настоящій королевскій сервизъ!

Берегли его ужасно, -но проклятое время и грубые люди дѣлали свое дѣло, и чашка за чашкой, и молочникъ, и сахарница, все понемногу шло къ тому концу, куда идутъ не только вещи, но и храбрые россы. И остался, наконецъ, одинъ чайникъ. Великолѣпный королевскій чайникъ. Одинъ изъ всего сервиза. Двухсотлѣтній. Наслѣдѣ двухъ королевскихъ домовъ.

Старая Луиза Карловна берегла его, какъ дитя родное. Дрожащими руками сама мыла его, вынимала и ставила на верхнюю полку буфета. И каждый разъ любовалась на желтую даму и тяжело вздыхала,—ахъ, только на старыхъ королевскихъ чайникахъ любовь такъ заманчива и невинна.

И вотъ однажды случилось несчастье. Братъ мой изображалъ степного мустанга, а я индѣйскаго воина,—и старый королевскій чайникъ полетѣлъ изъ дрожащихъ старыхъ рукъ Луизы Карловны, и разбился.

Насъ поставили въ уголъ. И Луиза Карловна больно драла меня за уши. Не знаю, что жалѣла она больше,—королевскую ли корону, гордость нашего дома, или ту левреточную идилию, отъ которой дрожало дѣвье сердце. Но она плакала и кричала: Abscheuliche Kinder! Was habt ihr gemacht, ihr Halunken! Nna!

И при этомъ слезы лились изъ ея глазъ и пальцы заворачивали мое ухо.

Я, конечно, былъ и виноватъ, и побѣжденъ, и наказанъ. Я былъ морально уничтоженъ. Но и чайникъ былъ разбитъ!

Онъ лежалъ въ черепкахъ на грязномъ полу. Онъ, береженный и лелѣянный, видѣвшій въ лицо королей двухъ домовъ, заставлявшій трепетать сердца принцессъ,—онъ вѣдь тоже любили левретокъ,—онъ лежалъ подъ пятой буйнаго мустага, размечтавашагося о вольной жизни въ преріяхъ дальняго Запада.

Что было дѣлать?

Mann muss ihn reparieren, — рѣшила Луиза Карловна. И вотъ, мы подобрали всѣ черепки, — ахъ, не всѣ! такъ какъ кое-что провалилось въ щели, кое-что разсыпалось мелкимъ прахомъ. Потомъ начали клеить. Сколько вечеровъ просидѣла Луиза Карловна съ очками на носу, смазывая черепки яичнымъ бѣлкомъ, молокомъ, прилаживая ручку и отбитый носикъ! Все было напрасно. Тогда позвали кузнеца Евдокима. Онъ долго презрительно вертѣлъ черепки и ворчалъ:

— Нестоящее дѣло. Помилуйте, за полтинникъ въ любой лавкѣ,—новый-съ! А тутъ!.. Да я четверку коней на четыре ноги скорѣе подкую-съ. Дозвольте не брать...

Но Луиза Карловна была неумолима. Она жить не могла безъ желтой дамы и рыцаря со шпагой, безъ короны и сознанія, что пьетъ изъ чайника королей двухъ династій.

— Право слово. Нестоящее дѣло...

Но она была неумолима.

И чайникъ ушелъ съ Евдокимомъ. Что онъ съ нимъ дѣлалъ, я не знаю. Ковырялъ и заливалъ, и сверлилъ, и опять заливалъ,—и, наконецъ, принесъ. Весь въ свинцовыхъ заплатахъ, сшитый проволокой, съ свинцовой заклепкой на лицѣ желтой дамы,—онъ былъ реставрированъ!

Долго смотрѣла на эту реставрацію Луиза Карловна и вдругъ повернула ко мнѣ яростное лицо и прошипѣла:

— Abscheulicher Knabe! И рѣшительнымъ жестомъ сунула реликвию въ шкафъ.

Потомъ оказалось, что онъ течетъ сквозь заклепки. Тогда его унесли въ темную кладовую. И, кто знаетъ?—Можетъ быть, онъ и теперь валяется тамъ вмѣстѣ съ желѣзнымъ ломомъ и старыми бутылками; онъ—реставрированный!

Прошелъ. Безвозвратно прошелъ вѣкъ рыцарей и левретокъ, и дамъ съ начесами. Его нельзя реставрировать. И сколько бы ни одѣвались „художественныя“ дамы въ стилъ тѣхъ милыхъ временъ, когда мой прадѣдъ—шамбелянъ скользя въ туфляхъ съ пряжками и въ парикѣ по заламъ варшавскаго дворца,—это будетъ только реставрированный чайникъ съ свинцовыми заклепками и крашеные усы. Душа—иная. И сколько бы гг. Дубровины и Марковы ни трубили въ трубы, сколько бы ни кричали на административныхъ перекресткахъ о побѣдномъ веселіи россовъ,—вѣкъ тайныхъ совѣтниковъ, вѣкъ дворянъ, и всеобщаго холопства прошелъ навсегда.

Властно вѣетъ надъ землею,—вѣетъ „гдѣ хочеть“—тотъ мощный духъ, который поднялъ волны, сдвинувшія русскую землю съ трехъ ея основъ. Я думаю, что и основы эти,—миѳическіе три кита, сползли съ своихъ трехъ столбовъ и плещутся теперь въ волнахъ вчера бушевавшего моря. Въ пользу этого есть много данныхъ. Указать хотя бы на старообрядческую комиссію. Подумайте,—кого призывалъ къ братскому и дружескому общенію епископъ Митрофанъ? Тѣхъ, кто былъ битъ въ доброе старое время дубьемъ, потомъ рублемъ, и, наконецъ, Соловецкимъ монастыремъ! Кого еще вчера могъ въонецъ изобидѣть любой старательный миссіонеръ.

Кого хотятъ сдѣлать собственникомъ, опорой порядка? Ту „святую скотину“, для которой только вчера считали необходимымъ патронажъ недорослей изъ дворянъ, — земскихъ начальниковъ!

Въ чемъ видятъ сущность гражданской свободы? Въ неприкосновенности „личности“, которую „всемирно и всецѣло“ обезличивали и стирали десятки и сотни лѣтъ.

Вы скажете: это слова! Нѣтъ, это не слова, такъ какъ въ дѣла ихъ превратитъ тотъ народившійся уже, нарождающійся сегодня, и имѣющій родиться завтра сильный хозяйственный мужикъ, отъ котораго, какъ отъ судьбы, не уйдешь.

Кто же побѣдитель и кто побѣжденный?

— Я побѣдительница,—говоритъ грязная раструхлая льдина, взломанная внешней водой, плывя по теченію исторической рѣки.

Кто этому повѣритъ?

— „Громъ победы раздавайся, веселися храбрый россъ!“

Но крашенные усы, расползающійся халатъ и стоптанныя старыя туфли—свидѣтельствуютъ о тускломъ концѣ прожитой жизни, о близкой могилѣ.

А молодая жизнь, вѣчная вѣлѣнію поэта, играетъ у гробового входа.

И будетъ играть—вѣчно!

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
Въ Старомъ домѣ	3
У озера	28
Святая ночь	37
Письмо издалека	51
Трубочисты	61
Нюша	79
Въ защиту исправниковъ	92
Въ странѣ далекой	104
Шейне-Крейне	119
Въ обратный путь	130
Дома	141
Господа дворяне	156
Рождестве іскій подарокъ	167
Новые люди	178
Бабы	190
Двѣ души	208
Основы жизни	231
Утѣшеніе	243
1-е Своевременное размышленіе	252
2-е " " "	260
3-е " " "	272
Побѣды а) " " "	280





Slav 4336.86.11
V starom dome;
Widener Library

004197021



3 2044 085 503 639